

Юрий Домо- ров- ский

Обезьяна приходит
за своим черепом

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ



Юрий Домбровский: проза

Юрий Домбровский
**Обезьяна приходит
за своим черепом**

«Издательство АСТ»

1943-1953

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Домбровский Ю. О.

Обезьяна приходит за своим черепом / Ю. О. Домбровский —
«Издательство АСТ», 1943-1953 — (Юрий Домбровский: проза)

ISBN 978-5-17-158812-0

Юрий Домбровский (1909–1978) – прозаик, поэт, “великий персонаж эпохи”, прошедший через несколько арестов и лагерей. Автор трех романов “Обезьяна приходит за своим черепом”, “Хранитель древностей” и “Факультет ненужных вещей”. Жан-Поль Сартр называл его “последним классиком XX века”.

Роман “Обезьяна приходит за своим черепом” Юрий Домбровский начал писать в 1943-м, в 1949-м текст вместе с его автором арестован, опубликован лишь после смерти Сталина. Место и время – некая европейская страна в предвоенные и послевоенные годы, охваченная фашизмом, где “все живое, разумное, мыслящее объявляется подлежащим уничтожению”. Ганс Мезонье, журналист, сын ученого-антрополога вслед за отцом пытается противостоять катастрофе, которая спустя несколько лет после Второй мировой может снова погрузить мир во тьму.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-158812-0

© Домбровский Ю. О., 1943-1953

© Издательство АСТ, 1943-1953

Содержание

Пролог	6
Часть первая	38
Глава первая	38
Глава вторая	43
Глава третья	49
Глава четвертая	53
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Юрий Домбровский

Обезьяна приходит за своим черепом

*Любови Ильиничне Крутиковой
с уважением и благодарностью
посвящает эту книгу автор*



- © Домбровский Ю. О., наследники
- © Бондаренко А. Л., художественное оформление
- © ООО «Издательство АСТ»

Пролог

Прежде чем приступить к подробному изложению всего того, что произошло со мной ровно пятнадцать лет назад, в дни оккупации, необходимо хотя бы в двух словах коснуться событий, побудивших меня взяться за перо. Но, во-первых, кто я такой? Меня зовут Ганс Мезонье, мне двадцать семь лет, два года тому назад я с медалью окончил Высшую школу юридических наук и до последней недели редактировал юридический отдел самой большой газеты нашего департамента. Формально редактором ее я состою и поныне – но об этом после. Каждый день в течение двух лет с двенадцати до четырех я сидел в кабинете, просматривая целые груды судебных фотографий, газетных вырезок, отчетов и полицейских протоколов, а раза три в месяц выступал с развернутыми статьями по тем или иным вопросам. Конечно, приходилось писать о всяком – мои милые соотечественники и современники падки на все необычайное и кровавое, все они любят загадочные преступления, невероятные убийства, взломы несгораемых шкафов, таинственные автомобили без номеров и фар и такие дела, как, скажем, отцеубийство или осквернение трупа, им только подавай.

Надо сказать, что на убийства нам везло. Не так давно было, например, такое: пятнадцатилетняя школьница через окно в сад застрелила отца, которого, кстати, очень любила. Застрелила она его ночью, когда он сидел за письменным столом, отослав спать всех домашних и нетерпеливо ожидая жену, отлучившуюся неизвестно куда и к кому, – впрочем, он и дочка отлично знали, куда и к кому, – выстрел был произведен именно из пистолета любовника матери, офицера криминальной полиции. После убийства девочка подбросила две неиспользованные гильзы в корзину с грязным бельем, разделась, легла спать и была разбужена только полицией, уводившей ее мать. Был громкий процесс. Любовника и мать казнили, дочку, наследницу всего состояния, отдали под опеку бабушки. И вот, выждав с полгода, девочка явилась с повинной в полицей-президиум и рассказала все. Это был сенсационный материал, и тираж нашей газеты в дни суда увеличился ровно вдвое. А девочка давала обширные интервью репортерам, фотографировалась и так и этак и раздавала автографы. Пришлось нанять специального человека, чтоб следить за всеми перипетиями процесса. Да и я не вылезал в те дни из суда ровно десять дней.

Еще лучше газета заработала на другом деле, облетевшем весь мир. В одной из великих держав, без всяких к тому доказательств, по оговору единственного свидетеля, к тому же самого арестованного и ждущего суда по этому же делу, присудили к смерти двух супругов. Они обвинялись в шпионаже, во-первых, в передаче секретнейших военных документов иностранной державе, во-вторых, в тайных связях с Восточной Европой, в-третьих, и именно последний пункт и освещал все дело, темное и бездоказательное до чрезвычайности. Было совершенно ясно, что обвинительный акт – вульгарнейшая полицейская фальшивка, а приговор – расправа правительственных верхов с неудобными людьми, которым вдруг почему-то перестали доверять. В эти дни мы печатали материал, поступающий со всех сторон, гонясь только за количеством строк. Так я работал в течение двух лет, и все это оборвалось сразу.

Вот как это случилось.

Несколько дней тому назад, возвращаясь из редакции, я зашел в почтовую контору, на адрес которой получаю свою корреспонденцию вот уже в течение добрых пяти лет. Когда я вошел, девушка, сидящая на выдаче корреспонденции, крикнула мне из окошечка:

– Писем для месье сегодня нет, а вот, кажется, бандероль! – И нагнулась к ящику с бандеролями.

В это время из соседней комнаты ее позвали. Она радостно сказала:

– Одну минуточку! – Бросила на стол все, что было у нее в руках, и улетела.

В почтовой конторе почти никого не было, только посредине комнаты, за столом, забрызганным чернилами, сидел кудлатый старик в очках, читал какую-то бумажку и крупным каллиграфическим почерком, букву за буквой, надписывал конверт. В это время я почувствовал затылком, что на меня смотрят. Я обернулся. Спиной ко мне стоял возле двери бородатый господин в кожаной желтой куртке, смотрел на расписание воздушной линии Гельсингфорс – Женева – Неаполь – Александрия и что-то выписывал в блокнот. Но тут возвратилась раскрасневшаяся, сияющая девушка, сказала весело и сконфуженно: “Извините”, – и сразу же подала мне мою бандероль. Я взял ее, хотел уже уходить и тут опять совершенно ясно, четко и остро почувствовал тот же взгляд. Я резко обернулся. Старик читал конверт, далеко отставив его от себя и бесшумно шевеля губами. Бородатый, в желтой куртке, кончив списывать, захлопнул книжку, сунул ее в карман и повернулся к двери. Я посмотрел на него сбоку, подумал о том, кто это, но, так ничего и не вспомнив, засунул бандероль в портфель и пошел к двери. И только я сделал два шага, как бородатый сразу же снова повернулся ко мне спиной. Очень трудно определить в таких случаях, почему и как тебе что-то западает в голову, но мне вдруг отчетливо и очень твердо подумалось, что этот человек следит за каждым моим движением, безусловно, меня знает и именно поэтому не хочет со мной встречаться. Повторяю – это была не мимолетная мысль, это была совершенно твердая, хотя и мгновенно созревшая, уверенность, хотя я и сам не знаю, как и откуда она запала мне в голову. И вот опять-таки странность: мало ли людей, чья честь не без упрека, а имя не без пятна, стали избегать своих знакомых после войны и арестов. Самое, по-видимому, разумное в таких случаях – сделать вид, что ты и сам не заметил негодяя, и пройти мимо. Так именно я всегда и поступал. Но на этот раз я прямо подошел к бородатому и встал с ним рядом; он сейчас же спокойно и очень естественно поднял руку в блестящей черной перчатке и стал тереть нос так, что почти все лицо оказалось закрытым. Так мы стояли плечом к плечу, смотрели на расписание и молчали. Это продолжалось, наверное, с полминуты, может быть, даже больше, потом бородатый, даже не поинтересовавшись, кто с ним стоит рядом, повернулся, спокойно обошел меня и направился к выходу. Но девушка в окошке, которая, очевидно, почему-то запомнила его, крикнула ему вдогонку:

– Месье Жослен, сегодня для вас кое-что есть!

И тут уж я чуть не схватил бородатого сзади за локоть. Жосленом звали одного из самых старых друзей моего отца. Я его уж не застал в живых – он погиб где-то на западе во время оккупации, – но имя его у нас произносилось чуть ли не каждый день: “Ах, что бы сказал Жослен, если бы он увидел это?”, “Ах, как жаль, что Жослен видел то-то, но не видел того-то...”

При крике из окошка бородатый замешкался, даже было приостановился на секунду, но сейчас же крикнул:

– Хорошо, хорошо, я сейчас зайду! – и выскочил на улицу.

Я кинулся за ним и увидел его всего. Нет, это, конечно, был не Жослен, столь хорошо известный мне по портрету, но ощущение у меня осталось такое, как будто при мгновенной вспышке молнии я узнал что-то очень мне близкое, страшно знакомое, но давным-давно позабытое. Так иногда, попадая в чужой город, человек вдруг вспоминает, что этот дом, никогда им не виданный, эту улицу, совершенно незнакомую, этого неизвестного человека, идущего ему навстречу, деревья, мост – одним словом, все, все он когда-то уже видел во сне или в раннем детстве, а может быть, и того еще раньше, до своего рождения.

Вот так было и со мной.

Неизвестный шел, не оборачиваясь, крупно и уверенно шагая, высокий, стройный, прямой, твердо засунув обе руки в карман своей куртки. На перекрестке стояло такси, и он поднял руку. Тут, видя, что он сейчас же уйдет и я никогда не узнаю и не вспомню, кто же он такой, я крикнул: “Месье, одну секундочку!” – и тогда он, уже не оглядываясь, прямо и открыто ринулся к машине.

Но в это время на шасси ее зажегся красный огонек – “занято”, и машина медленно тронулась с места. Теперь уйти от меня ему было уже невозможно – некуда. Мы стояли один против другого; третьим в этом отрезке улицы был только полицейский сержант в серой крылатке, стоящий на углу. Тогда, покоряясь необходимости, бородатый слегка дотронулся до шляпы и холодно спросил меня:

– Мы знакомы, месье?

И в то же мгновение я узнал его. Он сильно изменился, загорел, похудел, у него появилась густая, окладистая борода итальянского типа, очень смягчающая его длинное, хищное лицо с жестко выгнутыми линиями скул, всегда напоминавшими мне изгибы хирургического инструмента; мутноватые глаза, аккуратные, но мощные, как рога или крылья, брови, которые, хотя и срастались на переносице, но, как всегда, были аккуратно подбриты. Пока я говорил с ним и смотрел на него, он опять-таки очень прямо, все так же засунув руки в боковые карманы куртки, стоял передо мной и тоже смотрел мне в глаза. Для него это была безусловно очень решительная минута, и к его чести надо сказать, если он и был напуган или растерян, то и виду не показал. Я спросил его:

– Так вы стали уже Жосленом?

Мне хотелось, чтоб вопрос прозвучал резко и насмешливо, но голос мой прервался, дрогнул, и я спросил почти шепотом.

Он ответил спокойно и просто:

– Так мне удобнее получать почту до востребования.

Совершенно сбитый с толку, я молчал, а он сказал: – Но если вы имеете что-нибудь против этого, скажите.

Тут вдруг у меня мелькнула сумасшедшая мысль: вот он сейчас выхватит револьвер, выстрелит в меня в упор, да и юркнет в подъезд – ведь эти господа изучили все проходные дворы города. Я невольно схватился за карман. Тогда он повернул голову и крикнул:

– Господин сержант, будьте любезны, подойдите-ка сюда! – и спокойно вынул из кармана обе руки.

Полицейский, маленький, худощавый человек с чаплинскими усиками и землистым, впалым лицом, поправил кобуру и пошел к нам.

– В чем дело тут у вас, господа? – спросил он подозрительно. – О чем спор?

Не меняя положения, бородатый двумя пальцами дотронулся до шляпы.

– Вот, представляю: мой старый знакомый, известный журналист Ганс Мезонье (полицейский хмуро посмотрел на меня), он хотел бы проверить мою личность. Так пожалуйста. – Он полез в карман, вынул бумажник, раскрыл его, и я увидел целую кипу документов. – Пожалуйста, посмотрите, – повторил он ласково, подавая это все полицейскому.

Но тот не брал бумажника, а стоял и ждал объяснения. То, что у меня от волнения дрожат руки, а бородатый стоит совершенно спокойно, явно сбивало его с толку.

– Так что вам нужно от этого господина? – спросил он меня.

– Я хочу, – ответил я, – чтобы он объяснил, когда и почему он стал Жосленом.

– То есть, – усмехнулся бородатый, – я понимаю так, сержант: господин Мезонье именно и хочет объяснить вам, когда и почему я стал Жосленом.

Наступило секундное молчание. Сержант взял из рук бородатого бумажник и повернулся ко мне.

– А в чем все-таки дело? – спросил он недовольно. – Что вы имеете против этого господина?

– Да это же гестаповец, – сказал я. – Он был в нашем доме и убил моего отца.

Я еще и не договорил, как все мгновенно переменялось, полицейский словно вырос на голову. Четким, резким движением он сунул документы в карман и положил бородатому руку на плечо.

– Дойдемте до полицей-президиума, – сказал он коротко. – А ну, вперед!

И вытащил револьвер.

– Да нет, вы посмотрите сперва документы, – мягко и добродушно улыбнулся бородатый, не двигаясь с места. – Ведь вот же они у вас все в руках. Это одна минута, я никуда не денусь.

Полицейский вдруг быстрым, профессиональным движением дотронулся до карманов куртки бородатого, потом бегло провел по его брюкам; убедившись, что у него ничего нет, раскрыл бумажник и уткнулся в него, как в молитвенник.

– Как вы назвали этого гражданина? – спросил он, читая какой-то документ. – Жосленом?

– Его зовут Гарднер, – начал я. – Он...

Я остановился. Что тут говорить?! Какими словами мог бы я передать, как чернело обгорелое здание с выбитыми окнами и дверью, болтающейся на одной петле, как мертво хрустели под ногами перегоревшие стекла с неуловимым радужным отливом, какая была черная, сухая, жаркая, обгорелая проклятая земля в нашем саду и как страшно выглядели два трупа в нашем доме: один – отцовский, закрытый простыней, на диване, и другой – прямо на полу, маленький, скорченный, с разможенным черепом и разбросанными руками, в одной из которых так и застыл, так и прирос к ладони, пока его не выломали силой, крошечный лиловый браунинг. Все это только на секунду блеснуло перед глазами и ушло опять, оставляя тупую боль и тяжесть в душе. Оцепенело я смотрел на бородатого и чувствовал, что слова у меня не идут из горла.

В это время полицейский негромко воскликнул:

– Ну, так, правильно: “Иоганн Гарднер, уроженец города Дрездена, рождения тысяча девятисотого года”. Вот, – он протянул мне паспорт Гарднера. – Значит, таки не Жослен, а Гарднер?

Я был так сбит с толку, что ничего не ответил.

– Ну, так что же вам нужно от этого господина? – спросил, помедлив, полицейский и, не дождавшись моего ответа, снова полез в бумажник. – Вот тут есть постановление Министерства юстиции о прекращении наказания Иоганна Гарднера ввиду того, что осужденный, – дальше он читал по бумаге, – “по состоянию здоровья неспособен к несению наказания и не будет способен к этому в дальнейшем”. А вот, – и он вытащил другую бумагу, – протокол медицинской комиссии, вот акт, ну и так далее. А по правде сказать, больным-то вы что-то совсем не выглядите! – сказал он вдруг зло и насмешливо. – Что же, интересно, у вас заболело? Сердце небось сдало? А? – Гарднер молчал. – У тех, кого вы расстреливали, тоже сдавало сердце, да тогда вы что-то внимания на это не обращали. Возьмите, пожалуйста, ваши документы. – Он сунул ему обратно бумажник и грубо спросил: – Так с сердцем, говорю, неполадки?

– Но вы же читали медицинское заключение, – вежливо улыбнулся Гарднер. Вообще он держался очень хорошо, не егзил, не забегал вперед, не улыбался, а просто стоял и давал объяснения.

– Медицинское заключение, – недоброжелательно сказал, как будто выругался, сержант и выхватил у него из рук бумажник. – Дайте-ка еще раз взгляну на это самое медицинское заключение. “Частые потери сознания, судорожные припадки эпилептического порядка, головные боли в области затылка и тошнота”. В области затылка! Это, наверное, при исполнении служебной обязанности вас и хватили по затылку?

Я даже вздрогнул. Так вот почему он оказался “неспособным” к несению наказания. Ганка спас его от петли – стрелял с десяти шагов в упор и все-таки не убил. Как бы не в силах наглядеться, я смотрел на каштановую бороду, серые спокойные глаза, а видел не это, а то, как пятнадцать лет назад его, обвисшего и окровавленного, выносила из кабинета топчущая, до смерти перепуганная охрана, а прямо перед столом, на ковре, в черной луже крови лежал маленький человек с разможенным черепом и браунингом в далеко откиннутом, твердом и злобном кулачке.

– Поэтому вас и освободили? – спросил я ошалело. Полицейский вдруг внимательно посмотрел на меня, быстро сунул документы Гарднеру и приказал:

– Идите!

Гестаповец положил бумажник в карман и сказал нам обоим:

– Я сейчас зайду на почту, а вы тем временем подумайте. Я сейчас выйду.

И тут мной овладела такая бессильная злоба, так меня затрясло, что я не помню, как подскочил к нему и схватил его за воротник. Еще секунда – и я ему выбил бы челюсть, но он только слегка отвел голову и мягко, но сильно перехватил мою руку на лету.

– Какой же вы невыдержанный! – сказал он почти добродушно. – А ведь журналист. Разве кулаком что-нибудь докажешь? Почитайте-ка собственные фельетоны!

– Ну, вы лишнего-то тоже не болтайте! – обрезал его полицейский. – Какой еще кулак! Что никто вас не трогал, тому я свидетель.

– Да что вы, что вы, сержант! – любезно развел руками Гарднер. – Разве я заявляю претензии? До свидания! – Он пошел и остановился. – Но только два слова на прощание вам, дорогой господин Мезонье. Вы же юрист – вот я все время с большим удовольствием читаю ваши интереснейшие статьи, – так неужели же вам непонятно, что если меня десять лет тому назад судили и осудили, то это только потому, что какие-то очень уважаемые круги сочли, что им будет спокойнее, если я, вместо того чтобы гулять по Парижу и Берлину, буду сидеть за решеткой. И если меня освободили, то опять-таки потому, что эти же самые в высшей степени авторитетные и высокочтимые круги вдруг решили, что теперь для их безопасности и спокойствия нужно, чтоб я именно гулял по Берлину и Парижу, а не сидел за решеткой. Вот и все! До свидания!

Что мне оставалось делать? Он все понимал и знал. Знал, где я был, знал, что я сейчас делаю, кем работаю, я же про него не знал ровно ничего, даже что он такой же равноправный гражданин, как и я, и того не знал. Вот он повернулся к нам спиной и пошел к зданию почты, за письмами, которые получает на имя убитого им Жослена. Конечно, теперь он уже не постесняется их взять. Мы, я и сержант, как бы легализировали его. Мы связались с ним, чтобы его погубить, а он сразу же нам показал, что мы и гроша медного не стоим перед ним, так чего ж ему с нами стесняться?

Он ушел, и с минуту мы стояли оба молча.

– Вы уж очень расстроились из-за него, – сказал сержант, – вот даже побледнели. Значит, действительно насолил он вам, мерзавец.

Я промолчал.

– Но я вас понимаю, – продолжал он, понижая голос. – Я сам был в плену и знаю, какой там у них мед. Говорите, следователь гестапо?

– Нет, – сказал я, – начальник.

– Ай-ай-ай! – сержант пощелкал языком. – У него и взгляд-то волчий. И, значит, он и допрашивал кого-нибудь из ваших?

Я опять промолчал.

– Да, – сказал полицейский, смотря на дверь почты, – и вот смотрите, опять в своем полном праве, опять при деньгах и положении. – Он вздохнул. – Что делается, что делается на свете, и не поймешь даже что! Болен! – усмехнулся он. – Да таких больных бы...

Из почтовой конторы вышел Гарднер и, даже не взглянув на нас, ровным, неторопливым шагом пошел по улице. Дошел до перекрестка, поднял руку, остановил такси и сел в него. Полицейский смотрел ему вслед, пока машина не скрылась за поворотом, и вдруг повернулся ко мне.

– Слушайте, – крикнул он в страшном волнении, – а что если он нас обманул? Бумаги-то, может, поддельные, а? В одном кармане документ на Гарднера, а в другом – на Жослена... Постоите-ка, я... – И он сделал движение броситься к углу улицы, полицейскому телефону.

– Бросьте, – сказал я, удерживая его за руку. – Бросьте! Будьте спокойны, у него все в полном порядке. И фамилия, и служба. Это у нас все время что-то не так, а у него полный порядок.

Ночью этого же дня я сидел в своем кабинете и думал. Мне крепко запала в голову одна мысль, и я никак не мог отказаться от нее, как вдруг зазвонил телефон. Сняв трубку, я узнал голос моего шефа:

– Алло, Ганс! Что вы сейчас делаете?

То, что шеф позвонил мне так поздно, в двенадцать ночи, меня не особенно удивило. Старик любил меня и звонил мне в любые часы, как только ему была нужна справка. Но именно этот звонок меня насторожил. Ведь не далее как четыре часа назад мы расстались в редакции. Его куда-то вызвали, и я даже помню слова, которыми мы обменялись на прощание. Он спросил меня, готова ли у меня статья о прениях в парламенте. Дело шло о законе XIV века, который карал лиц, заглядывающих с улицы в чужие окна. Парень, которому впервые за четыреста лет предъявили такое странное обвинение, был осужден условно на две недели заключения, тем бы дело и кончилось, но левые газеты заговорили о судьях в пудренных париках, цепляющихся за порядки средневековья, и дело было перенесено во вторую инстанцию, а потом и в третью, то есть в Верховный суд. Наша газета тоже поместила обширную статью о законах арбалета и лука, действующих в век атомных двигателей. Тогда другая сторона, крайне правая, заметила: “Если вы так против всего старого, зачем же тогда цепляться за средневековую формулу: «Мой дом – моя крепость»? Почему и ее не сдать в архив как безнадежно устарелую и не отвечающую конкретным условиям современности? А то ведь повелось так: как обыск в редакции левой газеты или ночной арест, так поднимается крик на весь свет: «Помилуйте, нарушено право убежища!» Будьте уж логичны, господа ниспровергатели!” Мы ответили, и заварилась каша. Вот обо всем этом я и должен был написать ученую статью, сославшись на все узаконения, прецеденты и судебную практику. Именно об этом мы и говорили с шефом при последней встрече в редакции. Он спросил тогда: готова ли статья, и я ответил, что будет готова к утру. Он мне сказал: “Ну, я надеюсь на вас, Ганс. Тряхните их хорошенько, так, чтобы у них вся пудра с париков посыпалась”. Так мы и разошлись. И вот ночью он звонит мне опять и спрашивает не о том, готова ли заказанная статья, а что я делаю сейчас. Я ответил ему, что отдыхаю. Он засмеялся и воскликнул:

– И, конечно, не один?

Я сказал, что нет, один, да и всегда в это время я бываю один, – и тогда он быстро, даже как-то скороговоркой, сказал, что коли так, то он заедет ко мне на пять минут и хорошо бы, если бы в это время я был действительно один: надо поговорить. Я опять повторил, что я один, и, отложив рукопись, стал его ждать.

Он приехал ровно через пять минут – значит, был рядом, – и когда я увидел его, то понял, что не зря его тон был слишком легок и бегл, а смешок так продолжителен. Старик приехал с серьезным разговором. Однако, как бы то ни было, войдя в комнату, он сразу стал кривляться. Со слоновьей грацией пошутил насчет подушек, разбросанных по дивану (“Кто их разбросал? А не прячется ли кто-нибудь в соседней комнате?”), потом сказал, что он меня обязательно женит, – в мои годы у него уже был сын – и вдруг выпалил:

– А знаете, между прочим, Ганс, у меня был сейчас очень серьезный разговор о нашей газете.

Тут я даже усмехнулся – до того старик не умел хитрить – и спросил его напрямик:

– И обо мне что-нибудь такое?

Он страдальчески поморщился. Я сбивал его с толку, он не мог так, ему нужен был разбег, разгон, только в минуту открытых лобовых атак он становился груб и даже циничен – куда более циничен, чем это требовалось обстоятельствами разговора. Поэтому сейчас он сгоряча ответил мне:

– Нет, о вас ничего! – Но сейчас же спросил: – А ваша статья готова? Я могу ее посмотреть?

Я сказал, что еще нет, что только завтра утром она будет послана в типографию.

– А что, разве и о ней шла речь?

– Да нет, нет! – замахал он руками и быстро, смущенно зашагал по комнате. – Ух, как у вас душно! Разрешите, я открою форточку? – Он с минуту провозился у окна; а когда повернулся, то опять был уже ясным, благожелательным и спокойным. – Дело в том, что я хотел бы посмотреть эту статью до сдачи в типографию, – сказал он наконец любезно, но твердо. – Вы разрешите, конечно?

Тут я опять повел себя как-то не так, то есть попросту протянул ему рукопись. Он ждал от меня беспокойных вопросов, недоумений и недовольства, и то, что я так сразу взял да выложил ему рукопись, насторожило его опять. Он взял ее в руки, пробежал несколько первых строчек, уныло воскликнул: “Ну, великолепно!” – и, перегнув вдвое, спрятал в портфель. (Портфель этот стоит особого описания: он был для меня подлинным символом его хозяина – эдакая откормленная, разбухшая жаба величиной с большого кролика, и цвет-то у этой жабы был зловещий, какой-то жухлый, буро-желтый, в грязных пятнах и разводах.)

– Я вам отдам ее через три дня, – сказал старик. (Значит, понял я, посылка статьи утром в типографию отпадает.) – Мне она нужна для передовой. (Значит, понял я, передовую он пишет сам или передаст ее кому-нибудь, во всяком случае мне писать ее не дадут.) Надо, знаете ли, чтобы газета выработала какой-то общий взгляд на все эти столь умножившиеся, – он улыбнулся и сделал пышный жест рукой, – скандальные правовые эксцессы.

Ох, и как бы еще надо! Только об этом я и кричу все последние месяцы! В чем дело, в чем дело, господа хорошие, что случилось у нас в стране? Эти невероятные дела, беспричинные, казалось, самоубийства, эти осуждения по законам восьмивековой давности, наконец, то, что такие древние преступления, как убийство, похищение, изнасилование, “помолодели” до такой степени, что стали достоянием бойскаутов, – все эти трагические и комические Ватерлоу нашей цивилизации, имеют же они какую-то общую почву, из которой и растут, как поганки? Почему мы так захлебываемся, описывая их, и совершенно забываем о нем, о том перегное, который их и питает своими соками?

А старик щелкнул замочком, выпрямился на стуле и спросил:

– Но вы не согласны со мной, Ганс?

– Конечно, – ответил я, – конечно, согласен! Вы отлично сказали, что все это явления одного корня.

– Вот-вот, – просиял шеф, – я так и знал, что вы меня поддержите тоже. – (“Я тоже тебя поддержу! Ах ты, премудрая жаба!”) И вот как раз сегодня у меня был разговор об этом... – он замялся.

А я прямо спросил:

– Разговор о том, что я вас поддержу, шеф?

Он взмахнул руками и чуть не вскочил с места. Он терпеть не мог, чтобы его подчиненные чрезмерно забегали вперед и угадывали его мысли.

– Но при чем тут вы, при чем тут вы? – чуть не закричал он и схватился за грудь. – Ох, вот всегда так! При чем тут вы, Ганс? Я же говорю, что разговор шел не о сотрудниках газеты, а обо всей газете целиком. Ну, боком мы затронули и ваш отдел, конечно. (Тут я слегка улыбнулся, а он снова забеспокоился.) Но это же совершенно естественно, Ганс! Если речь идет о газете, то, значит, говорят и обо всех нас – ее работниках, не так ли? (Я кивнул головой, и он успокоился.) И знаете, некоторые претензии имеются, к сожалению, имеются. Часть их я сейчас же категорически отвел. Ну, насчет того, например, что мы печатаем уж что-то слишком много отзывов насчет казни этих двух несчастных. Тут я им прямо сказал: “Да, мы печатали эти отклики и будем печатать, и тут никто нам, конечно, не указ! Мы – свободная пресса, а

не агенты правительства, прошу это помнить!” – С полминуты он благородно фыркал. – Но некоторую часть упреков пришлось все же признать. А что же делать? – он усмехнулся. – Надо же быть объективным. Один папа только непогрешим, да и то в этом кое-кто сомневается! А, Ганс?

Тут мы немного посмеялись оба, и я предложил:

– Если вы, шеф, не торопитесь, то я пойду закажу кофе.

Это для того, чтобы он посидел, подумал, как и в каком объеме ему высказать мне то, что он принес в своем портфеле, а то будет целый день сидеть и мяться, да и мне самому надлежало собраться с мыслями. Ведь предстоял один из самых решительных разговоров в моей жизни. Он, конечно, сейчас же ухватился за мое предложение и сказал, что с истинным удовольствием выпьет чашку, так как у него совсем пересохло горло. Когда я вернулся, он уже опять был благожелательный, улыбающийся, спокойный, положил мне на руку благостную белую ладонь и сказал ласково:

– Да, очень, очень хвалят ваши статьи. А некоторые из них считаются прямо-таки образцовыми.

Я взглянул на него почти с благодарностью. Как-никак, а все это давалось ему с трудом. Старику было искренне жаль расставаться со мной, но надо было идти ва-банк. И я спросил:

– Но ведь они сделали и кое-какие замечания? Они не во всем, наверное, согласны со мною?

Только я это сказал, а он приоткрыл рот, как я понял, что зря и спрашивал. Чем больше я буду выпытывать, тем больше он будет прятаться. И он мне в самом деле ответил, что нет, литературно и даже политически они во всем согласны со мной. Но...

– Но будьте же объективны, Ганс, есть и другая сторона вопроса. Вот вы ведете большой, важный отдел и – ничего не скажу – очень хорошо ведете, добросовестно, интересно, принципиально, с самым небольшим уклоном. Но смотрите – что получается в итоге! Каждая статья сама по себе настолько правильна, что ни одно слово не может быть оспорено. Но в течение года газета помещает по вашему отделу не одну, а около двухсот таких статей и фельетонов, которые вы заказываете лицам определенного направления и взгляда на вещи. Это не считая мелких заметок, подписей и хроники. И вот вся эта масса, взятая вместе, представляет из себя уже нечто совершенно иное – это кропотливый подбор фактов, пронизанных совершенно ясной тенденцией.

Я слушал и молчал, а он продолжал:

– Вот хотя бы взять отклики насчет казни этих несчастных. Я сказал тогда, что мы их помещаем и будем помещать, – это, конечно, не только наше право, но и прямая обязанность. Но ведь, друг мой, признаюсь, сказав так, я сейчас же подумал: да, но ведь наши отзывы – это все туфли с одной ноги. Все они хором клеймят и осуждают – только клеймят и осуждают! – но не осужденных, а осудивших, то есть не преступников, а правительство. Иными словами – мы предоставили нашу газету для огульного охаивания всей правовой системы нашего великого и великодушного друга, хорошенько даже не разобравшись, чем же эта система так нехороша и кому она так не понравилась. Ну ведь, знаете ли, это похоже уже не только на вмешательство во внутренние дела другой страны, но и на прямую идеологическую диверсию.

Я смотрел на него. Он говорил пока еще тихо и ласково, но так как лицо его уже слегка порозовело, а глаза поблескивали, я знал, что теперь он не остановится, не высказав всего.

– Так вот, – продолжал он, – я и подумал: “Полно, да правильно ли это? Кому это надо? На кого же мы работаем?” И, признаюсь, спросив себя так, я не нашел что ответить.

“Ничего ты не подумал, – понял я, – это все там тебе вбили в голову. Для этого и вызывали...”

Но сказал-то я совсем другое:

– А почему вы не ответили им, шеф, что не далее как в последнем номере мы поместили за полной подписью кряду целых пять писем, одобряющих приговор суда и казнь?

– Ну да, – ответил он грубовато, – мы их поместили, это так, конечно, но, дорогой мой Ганс, то, что вы поместили в газете, – давайте уж говорить прямо! – это не отклики, а выкрики. Да, да! Истерические выкрики каких-то пьяных молодчиков ку-клукс-клановского типа. И поместили их вы, дорогой, – он говорил уже не “мы”, а “вы”, – поместили вы их на одной странице, а напротив, на развороте, дали обстоятельную и, надо сказать, очень убедительную статью о роковом падении правового чувства у масс и в доказательство привели как раз пять этих писем. Вы думаете, это прошло совершенно незамеченным?

Положив руки на подлокотники, я смотрел ему прямо в глаза и слушал. Ведь ясно же, что он принес в своем портфеле уже готовый ультиматум и не уйдет, не поставив его передо мной во всей его грозной нерушимости. Шеф был сговорчивым редактором, он мог бесконечно долго закрывать глаза на работу какого-нибудь отдела, который проводит определенную линию, даже на то, что на его голову за это льют помои и изощряются в самой неприличной ругани правые газеты, – это ведь, в конце концов, только поднимает тираж. С истинным величием выносил он также стрелы сатирических журналов, угрозы анонимов, развеселые звонки хулиганов и даже то, что кое-какие объявления ускользнули от нас к соседям. Эти жертвы поднимали репутацию газеты. Но ведь жертва жертве рознь, и одна угроза не похожа на другую. Иногда ласковый совет помолчать и подумать весит во сто раз больше всех истошных угроз и криков. А именно такой совет ему, по-видимому, и дали.

Я ответил ему, что и у таких писем свои читатели: есть не один десяток тысяч таких, для которых крик “Бей предателя!” убедительнее всех статей на свете о праве и справедливости. Вспомните дело Дрейфуса.

Он мне ответил грубовато, хотя все еще ласково:

– Бросьте, Ганс! Это у вас попросту бесцельная болтовня. Никого эти ослиные вопли убедить не могут, и вы хорошо знаете, что подбирали. Будем хоть честными друг с другом.

– Честными? – переспросил я и пожал плечами.

Это взорвало его, но на этот раз он еще сдержался.

– И объективными, Ганс, да, еще, кроме того, и объективными! – сказал он. – Да будет выслушана и другая сторона. Это же основное правило нашей юриспруденции. И когда суд его нарушит не в пользу обвиняемого, вы, юристы, ведь черт знает что поднимаете. А в газете, которую выписывают сотни тысяч, а читают миллионы, вы, судья праведный, сами отбираете нужных вам свидетелей. Да еще как отбираете!

– Пойдите, – сказал я, глядя на его покрасневшее лицо с тяжелыми глазами. – Но ведь для того, чтобы выслушать эту другую сторону, нужно, чтобы она не только была налицо, но еще и умела по-людски говорить и писать.

Этого он только и ждал – сразу просветлел, успокоился, ударил пухлой ручкой по своей откормленной рыжей жабе, и она глухо квакнула, подпрыгнула и развалилась, а он полез в ее нутро и с легкостью фокусника выхватил оттуда четыре листика бумаги, сложенных вдвое.

– Ну, а это? – спросил он скромно и торжественно.

Две недели тому назад я действительно получил это письмо по почте, но не опубликовал его, а спрятал в одну из папок. Теперь шеф сидел и тряс передо мной его копией. Я хорошо знал историю автора этого письма – редактора пронацистской газетки “Факел”, выходившей в нашем городе в дни оккупации. Этот редактор вдруг исчез, как сквозь землю провалился, в тот день, когда в наш город вошли союзные войска и первой запылала редакция его газеты.

С полгода он прятался по предместьям, а потом его поймали, судили и приговорили к каторжным работам. Он даже где-то не то год, не то два просидел за решеткой, но кто его судил, где это было, а главное, как он освободился, я так и не знаю. Важно то, что вот уже с год он гулял по нашему городу, а судя по тому, что все газеты нашего города получали его письма под

копирку, снова готовился спасти мир. Только теперь он ратовал за демократию, а особенно не мог нарадоваться на ту ее энергичную форму, которая была, по его словам, исполнена решимости защищать свое достояние “всеми доступными ей средствами, от атомной бомбы до электрического стула включительно”. “Лучше пойти на риск атомной войны и полного физического уничтожения человечества, чем потерять хоть что-нибудь из нашего священного достояния, – писал он в одной из таких статей, – пусть лучше падают на нас атомные бомбы, чем падет у нас наша Демократия”. Я, конечно, никогда не решился бы отправить это письмо в корзину или редакционный архив, но передо мной лежало письмо этого же человека, написанное двенадцать лет назад. Тогда он писал: “Нас совершенно зря зовут антикоммунистами – истина тут заключается в том, что коммунизм и коммунисты действительно являются первым и главным объектом нашего нападения, но так же энергично и последовательно мы боремся против любой формы демократии и демократизма, даже против простого либерализма, одним словом, против всякого учения или государственного строя, который кладет в основу безоговорочное признание равенства одного человека другому”.

Я хранил тогдашнее письмо, двенадцатилетней давности, и письмо, полученное мной десять дней назад, в одной и той же папке и собирался поместить их в одном номере газеты.

Но этого шеф как раз и не знал и мое молчание понял по-своему.

– Вот поэтому-то, Ганс, нас и обвиняют в подыгрывании красным, – сказал он поучительно и спрятал письмо.

До сих пор с начала этого разговора, да и всю эту неделю, если говорить начистоту, мне было довольно-таки тоскливо, но тут я по-настоящему разозлился и на какую-то долю секунды вдруг увидел не себя и его, зарвавшегося сотрудника и добродушнейшего шефа самой большой газеты департамента, а совсем других людей и другое время. Как это бывало уже не один раз в течение последнего полугодия, я на одну секунду опять пережил тревожный рев сирены, кошачий визг флейт и грохот барабанов – всю страшную музыку триумфальных маршей захватчиков в оккупированном городе. И в глубине этих годин я опять увидел зал, увешанный гипсовыми мордами обезьян, глубокое кресло, в котором сидел мой отец – худощавый, шупленький, с растерянной улыбкой и близоруко моргающими глазами, а перед ним стройную, злую, сухую, подтянутую фигуру офицера оккупационной армии; увидел я и себя – растрепанного мальчишку, вплотную прижавшегося лицом к неплотно затворенной двери, пахнувшей сосной и воском. Все это было страшно далеко и, конечно, совершенно непохоже на сегодняшний разговор, но и там ведь все начиналось каким-то документом, и там приводились доводы, и там далеко не сразу и совсем не свирепо звучали ласковые, осторожные угрозы, и даже не угрозы, а просто предупреждения. И, вспомнив все это, я не мог уже ни хитрить, ни вести игру, а мягко, но прямо спросил шефа, так прямо, как никогда не осмеливался спрашивать раньше:

– Так что же вы хотите мне предложить, господин Ланэ?

Именно “господин Ланэ” – так его в те годы называла и моя мать. Он вздрогнул от неожиданности, но тут внесли кофе – великолепный мельхиоровый кофейник моей матери со стеклянным верхом, с массой ситечек, фильтров, отстойников, каких-то колес и суконок, – и я захлопотал над столом. Пока я расставлял чашки, он смотрел на меня и думал, а потом бросил бумагу обратно в портфель, застегнул его и, улыбаясь, сердечно и дружески приказал:

– Ганс, это все надо прекратить.

– Да? – спросил я.

И так как в моем голосе не было действительно ничего, кроме любопытства, это взорвало его опять. Он тяжело отшвырнул мягкий портфель – он мягко шлепнулся на кресло – и почти закричал:

– Да, да, все это надо прекратить раз и навсегда! Если все редакторы будут вести такую линию, знаете, во что мы превратимся? Вот! – он ткнул куда-то в угол. – В коммунистический агитационный листок, в копеечную прокламацию, в воскресное приложение к “Юманите”! Вы

хотите этого? Ну так я этого совсем не хочу. Я им не слуга! Вы смотрите, до чего мы дошли! – Он снова распахивал портфель и выхватывал оттуда какие-то бумаги, письма, вырезки, трясы ими, а потом швырял на диван. – Вы видите, – говорил он яростно, – видите, что мне пишут о нашей газете? А с кем я говорил, вы знаете? Ну так вот, мне довольно! Я больше не хочу так! Себя мне не жалко, но газету, газету я вам не дам губить!

– Хорошо, – сказал я, – не будем губить газету, а главное – пусть больше вас не требуют туда, где вас сегодня так расстроили.

Он не слушал меня.

– И я еще желаю знать: кому мы служим, – кричал он, – на чью мельницу мы льем воду? Да, я вас хочу прямо спросить: кому и на чью? А? Вы не знаете этого? Вот и я не знаю. А это уж очень плохо, когда сотрудники газеты не знают, какому господу они молятся. Да ради бога, что же это такое? Девчонка убила отца, а мы вдруг вместо отчета о суде начинаем свергать правительство. Почему? К чему? Мне это не известно! Старый дурак выследил кавалера своей дочери, накостылял ему шею и притащил в полицию – не заглядывай по окнам, а другой дурак, но в парике, дал ему полмесяца. Так вот, вместо того чтобы говорить по существу, плох этот приговор или хорош, мы начинаем орать, что не судья дурак, а весь строй плох. А раз строй плох, так, значит, делай социальную революцию, зови коммунистов? Выходит, что так. Поймали за океаном двух шпионов – боже мой, на кого и на что мы тут только не обрушивались! Пишем и о ловцах ведьм, и о коррупции, и о подлогах, только о самих шпионах ни слова: ну как же, они – жертвы! Да что же это наконец такое? Меня вот спрашивают: “Во имя чего все это делается у вас?” И я молчу и думаю: “А верно, во имя чего, зачем?”

– Я вам налью кофе, – сказал я мирно.

Но он уже не хотел остановиться и кричал:

– Почему тот виноват, этот виноват, президент виноват, премьер виноват, английская королева виновата, только коммунисты, даже пойманные за руку, только они ни при чем? Нет, в конце концов, хватит! Есть какие-то пределы для терпения, хорошенького-то понемножку...

Он давно себя накачивал для этого разговора, и было видно, что, несмотря на все – на то, что он шеф, хозяин газеты, а я его сотрудник, что его линия совершенно прямо и неуклонна, а у меня и линии-то нет никакой, одно сплошное шатание, что он профессор, а я никто, – он чувствовал себя передо мной все-таки отнюдь не твердо. А я поглядел на его трясущиеся руки, не застегнутый желтый портфель, на бумаги, которые он разбросал по столу, и вдруг совершенно ясно понял, что буффонада, происходящая между нами, никому не нужна и ни к чему не ведет. Единственно, что сейчас требуется, – это прекратить всякие разговоры. Ведь ни себя я не чувствовал прокурором, ни его не считал подсудимым. Кроме того, его положение и с этой стороны было понятнее моего. В самом деле – он хочет сохранить свою газету, которой грозят большие неприятности, и свою незапятнанную репутацию, потому что уж очень будет плохо, если заинтересованные люди начнут копаться в его прошлом. А чего хочу я? Автор уклончивых статей, полных намеков на что-то такое, о чем я не смею сказать громко? Кому страшны мои булабочные уколы? Еще удивительно то, что вокруг этих однодневок разгораются какие-то страсти, старика куда-то вызывают, толкуют ему о какой-то опасности (это мои-то статьи опасны!), а он, пугаясь до смерти, орет на меня дурным голосом и трясет портфелем, набитым бумажной трухой. Как я могу ждать от него чего-то иного? Разве уже вылетело у меня из головы некое письмо, написанное им пятнадцать лет назад, где он уже не вопросы задавал, как сейчас, а просто и уверенно ставил крест на всей цивилизации и говорил, что самое главное и самое важное сейчас – это пронести через этот страшный мир свое бедное человеческое сознание? Ну вот, он и выжил, и пронес его, да еще стал героем. Так куда же я его толкаю сейчас, чего я от него хочу?..

В общем, я понял, что надо кончать, и сказал:

– Шеф, я все понимаю и со всем согласен.

– Ну и отлично! – рассерженно фыркнул он.

– Я все понимаю. Дайте мне обратно мою статью. – И протянул руку.

Тут он сразу осекся, лицо его сделалось растерянным, а глаза близорукими. То, что ему не пришлось хитрить и чертить вокруг меня лисьи петли и, значит, все речи и ультиматумы, которые он так тщательно подготавливал, пропали даром, произвело на него впечатление осечки, как будто он примерился, размахнулся, чтоб ткнуть противника в челюсть, а тот пригнулся или отскочил – и вот вместо упругого ощущения удара только ноет вывихнутая рука, и никак не поймешь: что же случилось?

Я взял у него статью и бросил ее на стол. Он пробормотал что-то вроде того: “А вы что, разве хотите сами?..” – и замолк, не зная, что сказать.

Я обошел стол с другой стороны, взял чашки – его и свою, – налил кофе и сказал:

– Не будем ссориться. Я все продумал и вижу, что нам хотя бы на время надо разойтись.

– Как? – кудакнул он уже в полной растерянности, охваченный, может быть, настоящей тревогой. Все ведь шло совсем не так, как он думал: я сам уходил, а не он меня увольнял.

– На время, на время, шеф! – успокоил я его.

И после того, как я произнес это решительное слово разрыва, все мое раздражение, неприязнь, даже чуть не ненависть – все как ветром снесло. Ибо не было уже передо мной врага, изменника, капитулянта, а было, наконец, только препятствие, которое я – наконец-то! – одолел одним рывком и о котором после этого уже не стоило размышлять.

– Пейте кофе, профессор, – сказал я и чуть не улыбнулся, потому что и это все ведь было когда-то.

Весь последний год я ненавидел этого человека, ненавидел все, что он делает, пишет, организует, редактирует, ненавидел его за все доброе, ненавидел за все злое, а больше всего за то, что он все время менялся в своей роковой значимости. То он был для меня действительно дядей Иоганном, давним другом моего отца, у которого я играл на коленях, – это был, конечно, миф, но так уж повелось издавна. (“Ах, я же помню вас, Ганс, когда вы еще были вот какой! Помните, как вы играли у меня на коленях?” Или: “Вы же играли у шефа на коленях, разве он вам в чем-нибудь откажет?” – это когда надо было замять какую-нибудь неудобную редакционную историю.) Потом пришла война, в город вошли нацистские войска, на фонарях появились повешенные, на улицах – убитые. Нашу семью покинули все. Мы жили за сорок километров от города, и когда Ланэ появился там и пришел сначала к матери, а потом к отцу, впервые проползло по почти опустевшим комнатам таинственное и скользкое, как змея, слово “предатель”. Но на предателя он не походил никак – этакий толстый, добродушно-унылый человек, молчаливо скитающийся по комнатам нашего почти опустевшего дома. Я хорошо помню, как он вздрагивал при каждом выстреле, как подавленно говорил: “Боже мой, боже мой, чем же это кончится?!” Как все остальное время сидел в углу дивана с книжкой в руках, но не читал, а глядел поверх нее, на противоположную стену. Ему не доверяли, при нем не разговаривали. Мать говорила про него: “Предатель”, отец говорил про него: “Шкурник”, а я украдкой смотрел в его круглые ореховые глаза и думал: “Так вот какие бывают шкурники!” Затем события пошли с невероятной быстротой. На меня сразу свалились смерть отца, убийство и самоубийство в нашем доме, пожар...

А дальше началась Восточная война, и все завертелось так, что я сразу потерял счет времени и событиям. Тут я впервые услышал, как затрещала по всем швам гитлеровская империя. Наш город, как находящийся в глубоком тылу, еще не бомбили, и поэтому война чувствовалась здесь меньше, чем везде, но меньше – это еще не мало вообще. Война нависала над нами, как грозная туча. Город заполняли беженцы с запада и раненые с востока, и там, где они жили, лежали или останавливались, постоянно шел разговор о таких страшных вещах, как ковровая и уютная бомбежка, о том, что в городе стоят кварталы черных развалин, что людей заваливает в бомбоубежищах и они гибнут там. Рассказывали, как из зоопарка после бомбежки

вырвались звери и метались по улицам. Они бежали не от людей, а к людям, и, скажем, медведь ревел и тряс лапой, страус махал обожженным крылом, а слон становился на колени, поднимал хобот и жалобно трубил. Но что могли сделать люди, когда и под ними горела земля? А коралловый аспид, очень ядовитая и красивая змея, похожая на красное и черное ожерелье, по пожарной лестнице заползла на шестой этаж и смиренно свернулась под чьей-то кроватью. И в этих рассказах о развалинах больших городов, об улицах, где ползают африканские гады и трубят умирающие слоны, было что-то и от Уэллса, и от апокалипсиса – в общем, от легенд о конце мира и тотальной гибели человечества. Очень страшно было слушать также о том, как налетают самолеты. Вдруг начинают сразу гудеть все сирены, воют, воют, воют, люди, как крысы, шмыгают сразу в подполье, а те летят волнами – две, три, бог знает сколько тысяч, – гудят, гремят и аккуратно выжигают квартал за кварталом. Вот тогда-то от прямого попадания зажигалки и сгорел наш институт. Я хорошо помню эти дни. В подвалы набивалось столько народу, что ни встать ни сесть; раз один старичок-аптекарь умер от инфаркта, и труп его продолжал стоять, так как был со всех сторон зажат живыми людьми.

Шептались о русских снегах, о партизанах, о смерти Кубе и покушении на Гитлера, о том, как под ударами Советской армии трещит Восточный фронт, как пала европейская крепость и что одна только надежда у гитлеровцев *Neue Waffe* – новое оружие – панацея от всех болезней и бед. Уже по тому, как произносились эти слова, можно было понять, с кем ты имеешь дело. Один говорил и сам улыбался, и тогда я отлично понимал: “Какое там к дьяволу новое оружие! Ничего им не поможет! Оружие-то новое, да обезьяна старая (по-немецки это получается очень складно: «*Neue Waffe und alte Affe*»)”.

Другие произносили эти два слова с угрозой. “Посмотрим, – словно говорили они, – посмотрим, господа, что останется от Лондона и Парижа! Посмотрим, что будет на месте Москвы! Яма с зеленой водой и лягушками”.

Были и третьи – паникеры. Они произносили эти слова шепотом и заглядывали в лицо: они всего боялись.

Четвертые делали значительные физиономии: “Я не знаю, конечно, что это за штука – новое оружие, но я слышал один разговор в бомбоубежище, – говорил очень сведущий человек, очень сведущий! – Это ужасно, ужасно! Бедные матери, бедные их дети!” Пятые – сразу же в крик: “Когда же, господа хорошие, когда же?! Ведь мы сторим, как моль, пока вы там раскачиваетесь!”

“Но оно обязательно появится”, – отвечали им шестые, и это была самая тупая, но зато и самая стойкая публика – столпы империи! И оно действительно появлялось, и оказывалось то сверхмощным танком “тигр”, то сверхманевренным танком “пантера”, то фаустпатроном. Все эти “фаусты”, “пантеры”, “тигры” должны были кончить войну еще в этом сезоне, а она тянулась, тянулась, тянулась неизвестно куда, и все меньше оставалось земли, куда можно было попятиться. А потом появлялась очередная еженедельная статья Геббельса, и все понимали, что новое оружие еще впереди, еще о нем надо гадать и гадать. А что конец не за горами, чувствовали все. Ужасны были мелочи, говорящие о конце. Например, в магазинах появилось мясо диких коз и кабанов – за килограммный талон два килограмма. Знаменитая “Мадонна” была скатана в трубку и тщательно упакована, а памятники забиты в ящики, спрятаны в подвалы, зарыты. Ходить после десяти часов по улицам запретили. Ползли слухи о шпионах. В окрестные леса будто бы сбросили парашютистов. И было, например, такое: в кафе “Лорелея” один офицер на глазах у публики застрелил другого – встал из-за столика, подошел к другому и бабахнул в затылок полковнику, который сидел и читал газету. А потом оказалось, что все это шпионское дело, – только неясно, кто из двоих шпион: убитый или убийца?

Вдруг газеты сообщили: вчера гильотинированы три очень известные женщины – оказались шпионками. Еще кого-то казнили за распространение рукописных листовок, еще – за спекуляцию продовольствием и еще – за грабеж после бомбежки. Появилось страшное слово

“дефатизмус” – дискредитация власти – и такие же страшные, короткие дела в полицейских судах. Жить становилось не то что страшнее (конечно, страшнее, но истощались болевые способности людей), а бессмысленнее с каждым днем. И опять-таки не то что не было уж решительно никакого выхода немецкому народу – выход был, и такой, и эдакий, – но стало ясно, что все пошло прахом. На долю одних уже досталась смерть, других еще ждут позор и разорение. Вот тут и исчез куда-то Ланэ. Потом я узнал, он не был предателем, оккупанты вывезли его в Германию. Пришла весть, что его гильотинировали в Баумцене. Это в корне меняло все дело. После победы в конференц-зале вновь отстроенного института водрузили его портрет, обвитый траурными лентами и лаврами, и вскоре в нашей городской газете я прочел некролог, подписанный всем научным коллективом нашего института: “Погиб выдающийся ученый, честнейший человек, бесстрашный борец фронта Сопротивления”. И тогда он вдруг появился сам, сильно поседевший, потерявший все зубы, немного припадающий на левую ногу – отдавали во время допросов, – но живой и в высшей степени деятельный. Он вернулся, и сразу все закипело в его руках. Теперь он был виднейшим антифашистским деятелем, крупным ученым, почетным председателем муниципального совета, одним из секретарей Партии прогрессистов. И какие речи он тогда произносил над могилами павших бойцов! На каких собраниях выступал! С какими деятелями и как фотографировался в обнимку! “Нет, еще живы старые дубы”, – говорили слушатели, расходясь после его выступлений. В отношении же ко мне он был по-прежнему старым другом моего отца, у которого я играл на коленях.

Шли годы. Умерла моя мать. Я окончил юридический факультет и год проболтался без дела, ибо и не такие, как я, юристы в то время занимались вычиткой корректур. И тут помог он, уже полностью отошедший от ученой деятельности и ставший редактором одной из самых больших газет нашего департамента. Он приехал ко мне домой, расцеловал, посадил в авто и увез к себе в редакцию. Там мы и стали работать. До войны это был листок самой средней руки: четыре полосы в будни, шесть – в праздник, при нем стало двенадцать и восемнадцать. Стало выходить иллюстрированное приложение “Мир за семь дней”, появились статьи известных авторов. И как мы бушевали тогда в этой обновленной газете, какие тирады произносили, сколько у нас было энергии, любви к жизни, беспощадности к ее врагам! Как мы обличали тогда спрятавшихся в крысиных норах усмирителей, как громогласно требовали им смертных казней! Позорной веревки требовали мы палачам Освенцима и Треблинки. Это были траурные дни больших процессов, раскопок братских могил, торжественных панихид, открытия памятников Неизвестному солдату. Это опять были дни клятв в зале меча, и светлой веры, и надежды на будущее. И гением мести, карающим во имя человечества и счастья его, казался мне тогда мой шеф. Ведь и он видел смерть в глаза, и он ползал по мокрому цементу Баумцена, и на него надевали смирительную рубашку и затягивали так, что трещали ребра. И было очень радостно думать, что теперь он плотно сидит в своем редакторском кресле и все громы сосредоточены в его пухлых, коротких пальцах.

Так шли годы. Затем наступил перелом, такой резкий и острый, что я долго не мог понять: что же произошло? Все, что казалось установленным на веки веков, стало опять таким же неясным, как и десять лет тому назад. Добро и зло, ставшие в первые послевоенные годы уже бесспорными, ощутимыми, зримыми, осязаемыми понятиями, опять начали вдруг тускнеть, убегать, а под конец обменялись между собой местами. И уж нельзя было разобраться, кто враг и кто друг и что почетнее – ловить скрывшихся от суда нацистов или выпускать на волю даже тех, кто в свое время ждал петли.

Вот отрывок из моего репортажа, написанного сейчас же после оправдания одного из главных участников процесса военных преступников:

“Зал суда большой, квадратный, без окон, но от сияния сотни искусственных солнц нестерпимо светло и жарко. В нем и был под утро объявлен приговор.

Тридцать человек были приговорены к смерти, десять – к заключению на разные сроки, один же...

Два солдата из комендатуры подошли к скамье подсудимых. Тогда с самого конца ее поднялся маленький, длинноволосый человек, почти карлик.

Он огляделся, сделал один шаг, потом другой и пошел вдоль стены к выходу – чем дальше, тем быстрее и увереннее.

На нем был глухой военный френч с отпоротыми нашивками на руках и, совсем не к месту, модные желтые полуботинки.

Карлик дошел до поворота и вдруг остановился.

Он увидел, что движение в зале сразу же прекратилось.

Все, кто был около двери, даже солдаты из комендантского отделения, смотрели на него молча и не двигались.

Так в цирке смотрят на акробата, шагающего по проволоке под самым куполом цирка: неужели сумеет пройти? Карлик, видимо, испугался. Это было, может быть, только секундное оцепенение. Он сразу же и нашелся – повернулся и быстро пошел обратно к скамье подсудимых: он сидел на ней около полугода, и сейчас только на ней он чувствовал себя безопасно.

Он дошел до нее, сел, повернулся так, чтобы от дверей видели одну его сторбленную спину. Тут к нему подошли защитник и комендант и что-то сказали, показывая на комнату совещаний – очевидно, там был запасной ход.

Карлик долго молчал, потом резко и коротко кивнул головой и совсем отвернулся от них, потом вдруг сорвался и быстро пошел к дверям.

Он шел теперь вслепую, через весь зал, не разбирая дороги, и было видно, какого усилия ему стоило, чтобы не побежать. Но люди стояли на его дороге, и их взгляды как бы отбрасывали его назад. Он не выдержал этой невидимой преграды, остановился и дико посмотрел на толпу. Ему встретились неподвижные лица, остановившиеся глаза, но он был храбрый человек и поэтому решил идти уж до конца. Он вошел в толпу, и тут вдруг вокруг него образовалась пустота. Люди раздались молчаливо и отчужденно, так, как будто все боялись коснуться руками его рук, лица или костюма.

Тогда я встал и сказал свидетелю обвинения, сидевшему около меня:

– Идемте.

Но он мне не ответил и продолжал смотреть.

– Что вы на него смотрите? Что в нем интересного? – повторил я более настойчиво.

И, продолжая смотреть на карлика, который теперь, вбирая голову, косо, почти панически бежал к дверям, свидетель спокойно ответил:

– А вот то, что он оправдан!”

С этого все и началось. Потом освободили и тех, кого осудили раньше на больших и малых процессах, и они стали появляться среди нас в глухих военных формах с орденами и значками военных лет. Наряду с акафистами водородной бомбе и атомной гибели появились издевательские призывы к милосердию. “Забудем все прошлое!” – орала газеты, и тогда по улицам замаршировали солдаты, солдаты, солдаты, сначала наши, потом развеселые американцы, в городах начались учебные затемнения. Вместо восстановления разрушенных столиц и деревень производительные силы мира начали изготавливать смерть во всех видах. Она была в бомбах, в газах, пахнущих орхидеями, в изящных перламутровых облатках, похожих на пудреницы, в мутных, бурых колбах, где неясно, бесшумно и грозно пульсировала живая плазма. Это была поистине страшная индустрия уничтожения, и скоро вся нация, каждый труженик ее уже работал не во имя жизни, своего ребенка, не на свою семью, не на самого себя, а исключительно на смерть неизвестного солдата. И вот в тот год, когда людям наконец, огромному большинству их, окончательно вбили в голову, что самый надежный и неподкупный гарант мира – война, тогда и начали расти, как поганки из навоза, сенсационные процессы о невероятных

убийствах, малолетние бандиты, школьники с ножами, девочки, пустившиеся во все тяжкие, шпионы и изменники, слухи о том, наконец, что враги нации всюду и везде, что ими могут быть даже наши жены или наши друзья – люди, садящиеся ежедневно за один стол с нами. Кого-то хватали, судили и осуждали, до крайности упростив судопроизводство, без доказательств, без свидетелей, фактически без всякого суда, на основании каких-то чрезвычайных законов об охране государства. Людей казнили, а после я подбирал письма читателей и печатал статьи за и против их казни.

И хотя я был юристом, но ничего не мог понять толком в этой вальпургиевой ночи и поэтому молча обращал глаза к тому креслу, где сидел мой шеф – разум и совесть нашей газеты. Но и он молчал до сегодняшнего дня и вот вдруг разговорился.

Зазвонил телефон, и когда я снял трубку, то сразу понял, кто это. Узнал меня и тот, кто звонил.

– Это вы, Ганс? – спросил он.

Я ответил, что да, я.

– Ну, здравствуйте, дорогой! Смотрите – через столько лет я узнал сразу ваш голос! Вы знаете, я страшно обрадовался, когда получил ваше письмо. Как вы, однако, узнали, что я здесь?

Я объяснил ему, что прочел о его приезде в местной газете, а адрес узнал через бюро.

– Ах, так? – усмехнулся он по ту сторону провода. – Значит, вы все-таки получаете нашу газету? Ну, и я тоже всегда читаю ваши статьи и хотел написать вам, да не знал, будет ли вам это приятно. – Он опять засмеялся. – Ладно, об этом после... Так вы пишете, что вы страшно поразились этой встрече на почте? А вы знаете, что этот тип сейчас занимает очень видное место у себя на родине?

– Ну! – воскликнул я. – Нет, этого я не знаю.

– Ну, не официально, конечно, занимает, до этого еще они не дошли – стыдятся, но общественная его карьера хоть куда! Он уже заместитель председателя фонда ветеранов войны и член президиума общества бывших ветеранов.

– Да разве он был в плену? – поразился я.

– Был, как и все ему подобные. Сдался англичанам за два дня до капитуляции. Если вас все это интересует и вы ничего не боитесь, зайдите-ка ко мне. Мы собираем все материалы, касающиеся наших старых друзей. Авось когда-нибудь пригодятся для будущих процессов.

– И даже очень скоро пригодятся, – ответил я. – Так дальше не может продолжаться.

Он неопределенно хмыкнул.

– Да, по вашему письму я почувствовал, что вы так думаете. Вот даже повстречали Гарднера и не поверили своим глазам. Полисмена позвали, и тогда выяснилось, что перед вами стоит лояльнейший и охраняемый всеми законами гражданин, который каждую минуту может возбудить против вас иск за оскорбление личности. Этого и испугался сержант. А вот когда я приезжаю на съезд ветеранов и борцов Сопротивления, у меня нет даже полной уверенности, что этот самый сержант мне даст дожить до конца съезда. – Он помолчал, подумал. – Вы сейчас свободны?

Я ответил, что у меня сидит гость, да уж и не поздно ли?

– Нет, не поздно, – ответил он. – Приезжайте тогда, когда освободитесь.

Я положил трубку и сказал Ланэ: “Извините, но сегодня у меня была такая невероятная встреча, что...” – и нарочно не окончил. Старик мельком – мой разговор по телефону его очень насторожил и встревожил – покосился на меня, потом взял из сахарницы два куска сахара, положил осторожно в чашку и, помешивая ложечкой, спросил:

– Это какая же? – а пальцы у него уже слегка подрагивали.

– Да вот, понимаете... – и я рассказал все.

На него я не смотрел, но ложечка что ни секунда, то сильнее дребезжала в его руке, а потом он и вообще поставил чашку на стол и спросил, только для того, конечно, чтоб спросить:

– А это был точно он? Вы не могли ошибиться?

Но я даже не ответил на этот жалкий вопрос, только усмехнулся. Тогда он снова так же осторожно поднял ложечку и положил в чашку, но только она звякнула, как он с отвращением отбросил ее на стол.

– Черт знает, что делают эти идиоты! – сказал он искренне и сильно. – И к чему? Кого они, дураки, дразнят? Народ, что ли? Так народ дразнить нельзя! Милость, конечно, милостью, без нее не обойдешься, но... И, говорите, совершенно здоров?

– Как яблочко румян.
...И весел бесконечно... —

продекламировал я. – И говорит, что его выпустили для общественного спокойствия. Но вот вам, я вижу, от этого не спокойнее, мне тоже. Так кто ж такие эти судьи милосердные? Вы думали об этом?

– Болваны они, – сердито отрезал старик, – болваны, вот и все, о чем тут еще думать?!

– Ах, шеф, но и болванам так же не хочется умирать, как и нам с вами, – улыбнулся я. – И трусы хотят войны не больше, чем храбрые. Значит, дело не в этом.

– Ну, а в чем же? – безнадежно вздохнул Ланэ и вдруг вскочил с места. – Ганс, вот вы опять вдаетесь в высокие материи. Да ну их ко всем чертям! Поверьте, что появление этого негодяя мне так же неприятно, как вам, но только не ищите, пожалуйста, за ним, как теперь любят выражаться, силы войны и тайных происков.

– Почему же тайных? – спросил я. – Как же тайных, когда...

– Когда мы ежедневно читаем газеты и сами даже издаем одну, самую крикливую, – улыбнулся Ланэ. – Ганс, милый друг, юный сын моего старейшего друга, если взять и выписать на бумажку имена всех тех почтеннейших людей, кого ежедневно то одна, то другая газета называет поджигателями, то не останется ни одного мало-мальски порядочного человека, которого не следовало бы повесить по крайней мере за шпионаж. Наш брат, конечно, свое дело делает – мы не даем людям успокоиться, и это уж само по себе великое дело. Но, дорогой, пророков среди нас нет и не будет: ни один еще святой не работал репортером.

– А вы ведь однажды были самым настоящим пророком, дорогой шеф, – сказал я. Ланэ махнул рукой.

– Ну да, действительно, нашли пророка! Я старый грешник, дитя мое, – он засмеялся. – Старый грешник, который давно не верит ни во что хорошее, а все-таки стремится к добру, а где оно и что оно, никто на свете толком не знает. Тот подлый змий все-таки не солгал Еве, когда говорил, что только одному Господу Богу известно полностью, что хорошо, а что плохо.

Он совершенно успокоился, взял чашку, стал пить маленькими, аккуратными глотками. Под старость он говорил так же, как и писал, – длинно, многословно и возвышенно. (Впрочем, замечу в скобках: все мы, когда нам нечего сказать, начинаем с Адама и Евы, с бесконечной сказки про добро и зло.)

– И все-таки вы однажды были самым настоящим пророком, – повторил я упорно. – Это было в самом начале оккупации. В столовой тогда сидели вы и Ганка, и речь шла о первых повешенных. И вот когда отец стал долго, красиво и возвышенно – а вы ведь знаете, он умел говорить красиво, – рассуждать о новых антропоидах, дерзнувших – слышите, как пышно: “дерзнувших”! – поднять руку на человека, помните, что вы тогда ему ответили?

Ланэ подумал и сказал:

– Представьте себе – нет, не помню. Но, наверное, что-то такое, что на много лет запало вам в память.

– Даже на всю жизнь. Вы сказали отцу примерно: “Профессор, пора бросить разговаривать и клеймить презрением. Слова словами, все это очень красиво и правильно, но вот если откроется дверь и в столовую войдет самый настоящий питекантроп и потребует у вас свой череп, который хранится у вас в сейфе, что вы тогда будете делать?”

Ланэ молча смотрел на меня, и на лице его я прочел сразу несколько разнородных чувств: тут были и неясный страх перед воспоминанием, и умиление перед временем, когда он был моложе на пятнадцать лет, и озабоченность, и колебания. И вдруг он вскочил с места.

– Да, Ганс, я все вспомнил, но то, что последовало тогда за моими словами, это была чистая случайность! – воскликнул он, очевидно, действительно сразу вспомнив все.

– И дальше вы сказали, – методически продолжал я: – “И вот обезьяна приходит за своим черепом, а три интеллигента сидят и ведут идиотский разговор о Шиллере и Гете – так черт бы подрал, – так сказали вы, – эту дряблую интеллигентскую душонку с ее малокровной кожей!” Но, к сожалению, ни один из интеллигентов, сидящих в зале, вас тогда не послушал, и вы знаете, чем это кончилось. И вот я весь последний год думаю: да полно, стоит ли тот мир, который мы создаем с вами, хотя бы наших покойников?

Пока я говорил это, Ланэ сидел, качал в такт моей речи головой, и глаза его были тихи и спокойны.

Только при словах “мир, который мы создаем” он чуть поморщился, но возмутиться у него уж не хватило ни сил, ни желания.

– Вы думаете все-таки, что вы говорите, Ганс? – сказал он вяло и ворчливо. – “Мир, который мы создаем”. Но ведь это тот самый мир, в котором живете и вы, судья праведный, не забываете же об этом, пожалуйста.

– Живу вместе с Гарднером! – напомнил я ему. – С палачом моего отца, ныне чудесно избавленным от темницы. Ныне он продолжает то дело, за которое пятнадцать лет тому назад он убил моего отца! Как же так? Почему? Ведь он не переменялся, он сам мне сказал об этом. Значит, не только он стал нам нужен, но и мы стали для него подходящими партнерами. Но тогда чей же мир мы строим? Кому он нужен? Кто в нем будет жить?

Ланэ молчал.

– Нет, шеф, говорю серьезно, или я сошел с ума, сидя на этих невероятных убийствах, или мир взбесился? Третьего не дано.

Он мне вдруг сказал очень просто и искренне:

– “Если это сумасшествие, Ганс, то в нем есть система”. Так, вероятнее всего, словами Шекспира ответил бы вам ваш батюшка, если бы он слышал наш разговор. Вы правы, ваш отец всегда любил выражаться красиво.

– И это его погубило, – грустно улыбнулся я. – Когда я буду писать воспоминания о последнем годе его жизни, я так и начну: “Отец мой любил говорить красиво”. – Я помолчал и посмотрел на моего шефа. – Можно мне будет посвятить их вам?

Он вдруг спросил:

– Ганс, можете вы мне поклясться, что в вашем вопросе сейчас не прозвучала угроза? Считаете ли вы, что вам есть чем мне грозить?

Я ответил ему просто и очень серьезно:

– Откровенно говоря, еще не знаю. Все зависит от того, как толковать некоторые правовые понятия. Вы смалодушничили тогда перед Гарднером, это так. Но, прежде всего, что такое малодушие, какова юридическая природа его? Если оно право необходимой обороны, то скажу под присягой, в те годы вы его не превысили – речь действительно шла о вашей жизни. Но вот второй вопрос, и существеннейший: не превысили ли вы его сейчас, зарезав мою статью про живого Гарднера? Тут вопрос о вашей жизни не стоит, вы – редактор, а он – только преступник.

Он вскочил с места, как заводной.

– Да кто вам сказал, что я отказываюсь ее печатать? Кто вам сказал это? Вот еще маньяк! Честное слово, маньяк! Я взял, чтоб посмотреть, как она уляжется в передовицу, а вы уж невесть что подумали... Посылайте ее завтра в типографию и не треплитесь!

Ровно через три дня Юрий Крыжевич сказал мне:

– Как это вам удалось подбить старика на то, что он согласился пропустить эту статью? Ведь это же полный скандал!

Мы сидели в кафе на крыше двенадцатиэтажного отеля “Регина” в весенний вечер – светлый, теплый, сладко пропахший душистым горошком и табаком. Возле нашего столика бесшумно, прямо из клумбы, бил невысокий фонтан, попеременно то синий, то красный, и цветы на клумбе все время мелко вздрагивали. Город лежал глубоко внизу, и даже самые большие огненные рекламы – синие, красные, желтые – находились под нами. Было так высоко, что до нас доносился только ровный, однообразный шум ночного города.

Крыжевич усмехнулся и сказал:

– И знаете, после этой статьи разумнее всего вам было бы не ходить сюда – слишком уж высоко!

Я не мог уловить по его тону, шутит он или нет, и ответил:

– Ну, я еще не страдаю манией преследования.

Он задумчиво перегнулся через балюстраду, посмотрел вниз и, поднимая голову, спокойно сказал:

– А еще одна такая статья, даже четверть такой статьи – и вам придется заболеть ею. Впрочем, вы и сейчас не избавитесь от неприятностей. Шеф вам здесь не защита. – Он говорил совершенно спокойно, серьезно, и я понял, что он имеет в виду что-то совершенно конкретное, но я не спросил, что именно, а он сейчас же заговорил о другом – о шефе.

– Ваш шеф в общем-то благая сила, – сказал он задумчиво, – в этом никаких сомнений нет. Но сейчас рассчитывать на него вам просто глупо. Скорее всего, ваша статья – последняя капля в чаше его многотерпения.

– Очевидно, – сказал я.

– И вы так думаете? Вот тогда и возникает вопрос: до каких же пределов он может пойти в своем желании загладить вину перед хозяевами, ибо они от него за эту статью могут потребовать очень многого? Вполне возможно даже, что они нарочно поджидали какого-нибудь такого демарша и теперь очень рады тому, что могут предъявить старику ультиматум – это на них очень похоже!

Он говорил задумчиво, тихо, смотря не на меня, а на город, блистающий под нами. Это были мысли, высказанные вслух.

– На очень многое он не пойдет, – ответил я ему. – Как хотите, но он честный человек.

Словно не слыша меня, Крыжевич вынул деньги, положил их под тарелку и встал.

– Идемте, – сказал он. – Я остерегаюсь ходить слишком поздно.

Потом мы очень долго шли по маленьким узким кривым переулочкам и говорили о том, о сем, о докторе Ганке, о Марте (“Самая замечательная женщина из всех, которых я только знал!” – воскликнул Крыжевич), потом немного о том, что я буду делать, уйдя из редакции, и опять о моей статье. И только когда мы уже стали прощаться, пожимая мне руку, он вдруг сказал:

– Ганс, помните только одно: подлецы никогда не делают ничего сами, для этого у них есть честные люди, которым стоит только шепнуть словечко – и все будет обделано за два-три часа в лучшем виде.

А статья моя действительно вызвала переполох. Когда я приехал из апелляционного суда, у всех сотрудников на столе лежал сегодняшний номер и они читали именно мою передовую. А когда я вошел в машинописное бюро, то увидел, как по-разному смотрят на меня и мои

славные барышни, и мои исполнительные старушки – кто с улыбкой, кто с любопытством, а кто даже с некоторой оторопью. Затем вдруг ко мне влетел редактор соседнего отдела и крикнул:

– Ух, старина, до чего же ты их здорово откатал! Но ты обеспечил себе тыл? Письмо этого редактора у тебя действительно имеется?.. Ну, тогда валяй их на все корки! Тогда все правильнее правильного! Не сдавайся, старик!

Потом были звонки от читателей. Звонили целый день. Кое-кто недоумевал: да неужели же я ничего не приукрасил? Кто-то спрашивал: “И фамилии подлинные?” Кое-кто сообщал, что и он знает такой же случай. Вот, например, в соседнем с ним доме, в квартире 20... И, рассказав все про своего соседа, спрашивал, нельзя ли и про него написать такую же статью, а материал он даст самый достоверный, если нужно, даже двух свидетельниц приведет. Был и такой звонок: кто-то, судя по голосу, очень злой и желчный, попросил позвать к телефону автора статьи, а когда я подошел, спросил:

– Это именно вы, господин Мезонье, а не секретарь отдела?

Я сказал, что нет, это точно я.

– И вы действительно написали эту гадость? – спросил мой собеседник с таким неподдельным возмущением, что я даже улыбнулся.

– А что вас интересует? – спросил я.

– Как вас земля еще носит, вот что меня интересует! – заорал он так, что даже задрезжала мембрана. – Это вы к чему же призываете? К убийству, что ли? “Враг гуляет между нами” – что это за лозунг такой? Гарднера выпустили по болезни. А если человек, кто б он ни был, болен, значит, он мне не враг, а враг мне тот, кто подбивает меня линчевать больного. Вы что же, уважаемый, опять виселиц захотели? Мало вам было их при нацистах?

– Позвольте, позвольте, – спросил я, несколько растерявшись, – а кто вы такой будете?

– А какое тебе дело, кто я такой? – закричал он в телефонную трубку. – Христианин я – вот кто я такой, уважаемый господин Мезонье!

– И, я надеюсь, вы точно так же, – спросил я, – согласно христианскому закону, звонили во время оккупации и нацистам? Ну, хотя бы редактору той газеты, за которого вы так возмущаетесь, вы звонили по поводу его передовых?

– Да, звонил! – заревела телефонная трубка. – А какое тебе дело, мерзавец, звонил ли я или нет? Тебя это совсем не касается. Вот я тебе звоню и говорю, что ты негодай, поджигатель! – и он со звоном обрушил трубку на рычаг.

Затем позвонил еще кто-то и тихо сказал:

– Извините, господин Мезонье, я часто вижу, как вы гуляете по улицам. Сегодня мне очень хотелось подойти и пожать вам руку – и от себя, и от товарищей, – но у вас всегда такой отсутствующий вид...

Я спросил:

– Речь идет о нынешней статье?

Он ответил:

– Ну конечно.

Я спросил:

– И как, по-вашему, я правильно ставлю вопрос?

– Ну, – ответил он, и я почувствовал, что он улыбается, – это мало сказать, что правильно.

А потом позвонили из экспедиции нашей газеты и сказали, что по распоряжению полиции номер газеты конфискуется по всему городу, но только у газетчиков уже ничего не осталось, номера продаются по двойной цене на улице. Вечером я встретился с Крыжевичем.

А утром следующего дня меня вызвал к себе шеф.

Когда я вошел в кабинет, шеф разговаривал с двумя посетителями. Я могу их хорошо описать, потому что оба они запомнились мне сразу и на всю жизнь. Один из них был высоким, худым человеком с желтым, пыльным лицом, длинными прямыми складками около рта и

носа и удивительной смесью совершенно черных и совершенно белых, седых волос. Он сидел около стола боком, и я сразу понял, кто это такой. Другой посетитель, тоже высокий и молодой, с богатырскими круглыми плечами и круглым же затылком, сидел ко мне спиной и даже не повернулся, когда я вошел, зато сразу же вскочил и засиял шеф. По его чрезмерной оживленности, по обворожительной и любящей улыбке, предназначенной только мне, я понял, что речь шла о моей статье. Эти двое затравили его, как зайца, и вот он прячется за улыбку, как за кусты.

– Ну вот, – сказал шеф и потер ручки, как будто бы все это его очень радовало, – вот и сам автор этой столь нашумевшей статьи. А это, – обратился он ко мне, – тот журналист, письмо которого вы цитировали. Он желает с нами объясниться и представляет ряд соображений и новых данных. Надо послушать его, Ганс.

– Как и нам выслушать вас, – сказал молодой и повернул ко мне холеное, широкое, полное, уже чуть обрюзгшее лицо. – Здравствуйте, господин Мезонье. Я адвокат, представляющий интересы господина Гарднера, который, к сожалению, только вчера поручил мне поговорить с вами. Если разрешите, я хотел сейчас бы и приступить.

– Я вас слушаю, господа, – ответил я. – Что вам угодно?

Шеф поднялся из-за стола, собрал какие-то бумаги, засунул их в папку и, держа ее как щит, быстро и суетливо сказал:

– Ну а я пошел, господа. Куча дел! Мы с вами, Ганс, еще потом поговорим. До свидания! – И, очень озабоченный, он выскочил из кабинета.

– Замечательный старик ваш шеф, – мечтательно сказал редактор фашистской газеты, смотря на дверь. – Ясный и острый ум, и это после стольких переживаний...

Я не ответил, и наступила неудобная пауза.

– Так что вам угодно, господа? – повторил я, проходя за стол и садясь на место шефа.

Смотря прямо мне в глаза, адвокат ответил мягко, ласково и нагло:

– Ну, прежде всего дружески предупредить вас, господин Мезонье: вы допустили серьезную ошибку, и ее последствия уже необратимы.

– А именно? – спросил я так же мягко и нагло. – Я что-нибудь наврал, перепутал, например, факты, оклеветал кого-то? Может быть, ваш почтенный доверитель в действительности никогда не работал в гестапо, так же, как и вы, уважаемый коллега, никогда не издавали нацистской газеты и я просто спутал вас с вашим однофамильцем?

– Кстати, – вдруг спохватился редактор фашистского листка, – вот вы цитировали статью, якобы написанную мной. Надеюсь, я могу ознакомиться с ней полностью?

– Вполне, – сказал я радушно. – После конца разговора я вам вручу фотокопию. Это все, что вас интересует?

– О, нет, далеко не все, – улыбнулся редактор. – Насколько я знаю, цитированная вами статья никогда и нигде не публиковалась?

Тут я засмеялся и сказал:

– Совершенно верно, никогда и нигде! Но когда я сегодня же вручу вам фотокопию, вы увидите, что машинописный текст содержит множество мелких помарок, сделанных вашей рукой. Учтите, что этот документ находится в моих руках уже очень давно – лет тринадцать по крайней мере. Он был вручен лично шефом, когда шеф еще работал в институте, моей матери и хранился все время в ее бумагах. Цитированные строчки, как вы, безусловно, вспомните, – несколько строк вашего письма в редакцию, написанного от имени группы сотрудников института, отрекшихся от моего отца и осудивших всю его деятельность.

Наступила пауза. Редактор все еще улыбался, но с каждой секундой улыбка его становилась все задумчивее, тусклее, а потом он и совсем посерьезнел. Я, безусловно, вышиб из его рук очень сильный аргумент.

– Так я вам буду очень благодарен за фотокопию, – сказал он наконец с легким поклоном. – Но, возвращаясь к вашей статье, я должен сказать, что вы совершенно неправомерно представили дело так, как будто вами цитируется текст какого-то опубликованного фельетона.

– А, чепуха! Разрешите-ка лучше мне, – досадливо отмахнулся от редактора адвокат. – Опубликовано, не опубликовано – дело, в конце концов, не в этом! Такая статья есть – это главное, а вам не надо было оставлять компрометирующие документы! Но, господин Мезонье, ваша статья содержала прямой и очень деятельный призыв к убийству моего клиента, и это уже совершенно недопустимо.

Я сидел и молча смотрел на его полное, чуть обрюзгшее лицо, чем-то напоминающее мне лицо Оскара Уайльда, на спокойные глаза, изобличающие пронырливого, но не очень умного человека. А он продолжал:

– Как вот, например, понять такие строчки: “И вот тут возникает вопрос отнюдь не меньшей важности. Государство по каким-то своим, очень особым соображениям отказывается карать убийцу. Но что случится, если меч, выпавший из рук одряхлевшей Фемиды, подхватит брат, отец, сын жертвы или даже сама жертва, если она, по непостижимому счастью, окажется живой? Одним словом, что должна делать юстиция, если жертва казнит своего палача? И не приведет ли это, в конце концов, к возрождению библейского талиона, к тому знаменитому «око за око, зуб за зуб», при котором роль государства доведена до нуля? А что делать с мстителем? Повесить его за убийство? Но это значит только довершить то, что не сумели доделать наши общие враги. Посадить в тюрьму? Но уже сажали! И самое опасное. Если и посадить и судить, то можно ли быть уверенным, что человек, убивший собственного палача, все-таки не будет оправдан присяжными? А когда это произойдет, не будет ли это как раз тем прецедентом, который снова восстановит права ножа, револьвера и убийства из-за угла? Как забыть далее, что государство, осуществляющее великий принцип «Мне отмщение, и аз воздам», так же не вправе оказать произвольную и преступную милость убийце, как и покарать за убийство невинного?”? Достаточно ясно, правда? И вот этих-то строк, – адвокат постучал согнутым пальцем по газете, – одного этого места вполне достаточно, чтоб возбудить против вас судебное преследование за подстрекательство к убийству. Вы юрист и должны знать, что это такое.

Он замолчал, ожидая моего ответа. Но я тоже молчал. Мне было совершенно ясно, что все, что говорит этот сукин сын, очень разумно. Правда, возбудить дело против меня сейчас все-таки довольно трудно. Такие процессы и осуждения по ним возможны только после совершившегося покушения. Но разве не абсолютно ясно, что это же отлично сознают и мои противники? Так, значит, они уже приняли все меры к тому, чтобы угроза по крайней мере хотя бы выглядела реальной. Конечно, покушение будет совершено в надлежащие сроки и с надлежащими результатами. Негодяй получит несколько шишек на лбу или синяк, преступник будет задержан на самом месте преступления, да и всего вероятнее, он даже бежать-то не будет, и при первых же допросах выяснится, что на преступление его подтолкнула статья известного журналиста (называется моя фамилия), и вот уже загудело, завертело меня громоздкое, бестолковое колесо юстиции. Все это было для меня вполне понятно, и я даже знал по опыту, как это делается.

– Итак, господа, – сказал я, – мне все понятно, кроме одного: чего же вы все-таки от меня хотите?

Смотря мне в глаза, адвокат ответил:

– А наши условия будут достаточно жестки, господин Мезонье. Мы будем просить прекратить вашу разрушительную деятельность, то есть, – поправился он, – разрушительную, конечно, только в той части, которая непосредственно направлена на разжигание междоусобной войны. Вы правы, но вы чрезмерно далеко зашли. Перед вами два потерпевших. Один из них пришел со мной и имеет честь с вами разговаривать. Другой, представителем которого являюсь я, мог прийти вчера, но сегодня он уже не придет.

Он говорил благожелательно, тихо, но все время смотря мне в глаза. От его тяжелого взгляда и ласковости мне стало так неприятно, что я грубо спросил:

– Но неужели Гарднер стал за эти дни таким трусом?

– Трусом? – спросил адвокат с хорошо разыгранным удивлением. – Нет конечно. Но он вообще перестал быть человеком. Он убит вчера ночью за городом.

Надо сознаться, удар был подготовлен и нанесен мастерски. Я чуть не вскрикнул от неожиданности. Мне мгновенно представилось все то, что неминуемо должно свалиться на меня, на шефа, на всю газету вообще. Говорить дальше было уже бессмысленно. Я скомкал конец разговора и почти выбежал из кабинета. Через час репортер криминального отдела принес первые подробности. Труп Гарднера был обнаружен в небольшом лесу, вернее – загородном парке, в одной из старых, заброшенных аллей. Он лежал на поляне лицом вниз, а все лицо, от уха до уха, пересекал рубец, очень тонкий, запекшийся по краям черной, как потемневшая смола, кровью. Одежда убитого, особенно пиджак, была смята, разорвана, затоптана, и вообще впечатление было такое, как будто Гарднер попал под машину и его минут пять тащило по дороге. Однако ясными оказались только два обстоятельства. Первое: смерть последовала от массивного размозжения мягкого мозгового вещества каким-то тупым орудием, возможно обухом топора, и наступила около десяти часов тому назад. И второе: труп был перенесен с другого места, тащил его один человек, сначала на руках, а потом волоком по земле. Причин убийства вечерние газеты не приводили, хотя и называли преступление таинственным, знаменательным и даже многозначительным.

Наутро мне позвонил шеф и сердито спросил:

– Ганс, я вас ни о чем не спрашиваю, но надеюсь, вы не такой болван, чтоб сунуться за информацией в полицию самому?

Я сказал, что как раз и собираюсь идти сейчас туда.

– Ну, тогда я вас очень попрошу, – сказал шеф тревожно, – ни в коем случае никуда не соваться. Достаточно и того, что уже есть.

– А что же такое есть? – спросил я.

Он сердито хмыкнул.

– А это как раз то, что нам еще придется сегодня уяснить полностью на собственной шкуре. Во всяком случае развернутых объяснений теперь не избежать. Подстрекательство к убийству через печать – знаете, что это такое по нынешним временам?

– Да, но кто же подстрекал-то? – спросил я.

– Да мы же, мы же с вами! – заорал он в трубку. – Вы да я, старый дуралей. И отвечать нам придется обоим, и, к сожалению, кажется, даже поровну.

И он бросил трубку.

А вот что я узнал в полицей-президиуме.

Убийство, несомненно, носило явно выраженный политический характер. Все деньги и ценности – часы и браслет – оказались целыми. В день убийства, еще до обнаружения трупа, президенту полицей-президиума прислали вырезку из газеты с моей статьей. На полях ее крупными красными буквами было выведено: “Преступление и наказание”. Как обнаружил осмотр штемпелей, опущено это письмо было в районе нахождения комитета коммунистической партии. Далее шла (я цитирую полицейское коммюнике для печати), так сказать, принципиальная часть. Учитывая все это, само собой напрашивался вопрос: как же расценивать действия автора статьи? Ясно: даже не поднимая вопрос о достоверности фактов, изложенных в статье, то есть о клевете, приходится прийти к выводу, что весь ход рассуждений господина Мезонье носит нетерпимый характер и она вполне способна вызвать эксцессы вроде происшедшего. Ясно и то, что автор если и не прямо подстрекал, то обязан был предвидеть реальные последствия своей статьи, тем более что он и сам является достаточно опытным юристом. Таким образом, пуб-

ликация статьи может быть квалифицирована как вполне обдуманное преступное действие, направленное против жизни и здоровья лиц, неугодных автору, а это полностью соответствует такой-то и такой-то статьям кодекса.

Это заявление было сделано сначала устно в кабинете президента несколькими журналистами, а потом распространено в виде официального документа, который кончался так: “Таким образом, налицо преступление, начатое три дня тому назад в редакции газеты и затем полностью законченное в окрестностях города. Разумеется, предполагать согласованные действия двух лиц – журналиста и физического убийцы – невозможно. Не равна и доля их ответственности. Однако основание для привлечения господина Мезонье к уголовной ответственности, безусловно, имеется. Тем не менее ничего более ясного сказать пока нельзя, так как этот вопрос касается компетенции прокуратуры, а не полиции. Дело изучается органами государственного обвинения, и соображения тут могут быть самые различные”.

Что это значило, я узнал полностью через два дня, когда мне позвонил по телефону Юрий Крыжевич.

Он сказал, что зайдет ко мне сейчас же, пусть только у меня никого не будет, и по его тону я понял, что истории с убийством он придает чрезвычайное значение. Так оно и было на самом деле.

– Ну, – сказал он, проходя в комнату и на ходу расстегивая пуговицы на плаще, – на этот раз, кажется, вы дописались уж по-настоящему. Что говорит ваш шеф?

Я усмехнулся. Шеф мой мне ровно ничего не говорил, только вздыхал да качал головой, даже звонить и то перестал.

– Наверное, все звонит и справляется о здоровье? – спросил Крыжевич. – Как, и не звонит даже? Ну а вы-то ему пробовали звонить? Тоже нет? А почему?.. Ну и правильно! Сейчас самое правильное – вам обоим молчать и ждать, чем все это кончится.

– А вы думаете чем? – спросил я.

Он ничего не ответил, только пожал плечами.

Пережил я за эти два дня очень много.

Гроза надвигалась на меня со страшной постепенностью. Как будто даже ничто не изменилось вокруг меня. Я по-прежнему ходил в редакцию, аккуратно отвечал на письма читателей, принимал посетителей, подписывал к набору материал своего отдела. По-прежнему ко мне то с воплями, то с руганью, то с обольстительными улыбочками входили (или врывались) обычные мои посетители – бандиты, якобы невинно оклеветанные прессой, мужья, оскорбленные в лучших своих чувствах, девушки с разбитыми сердцами, чрезмерно удачливые адвокаты по криминальным делам. Никто никогда не говорил со мной о моей статье, хотя, конечно, знали про нее все. Но ведь и то надо понять: у человека, пришедшего в судебный отдел, у самого земля горит под ногами, так ему ли до чужих бед и смертей?! Почти прекратились и звонки. Зато по редакционным кабинетам поползли какие-то смутные слухи. Я долго не мог уловить их суть, но однажды ко мне в кабинет зашел редактор международного отдела – человек еще молодой, но уже выдавший виды. За десять лет он успел с корреспондентским билетом пройти три войны – две малых и одну глобальную – и поэтому имел обширный круг знакомств среди военных. Зашел он уже после конца работы, прикрыл дверь и, подходя к самому столу (я правил гранки), сказал:

– Вы знаете, с убийством этого Гарднера происходит действительно какая-то чертовщина.

– Да? – спросил я.

– Да, да! Оказывается, негодяя-то намечали на крупный военный пост в комитете по координации чего-то, и были уже сделаны все нужные запросы, получены ответы – и вот тут как раз и ударила по нему ваша статья. Понимаете, как сразу все обострилось и как все забегали?

Он говорил, явно чего-то недосказывая и на что-то намекая, только я не улавливал, на что именно.

– Вот как? – сказал я, смотря на него.

Он улыбнулся мне, но глаза отвел.

– Конечно, если бы назначение уже состоялось и было объявлено, кое-кому сильно нагорело бы. Вы называете с сотню свидетелей – значит, сообщаемые вами факты абсолютно не составляют секрета, они настолько лежат на поверхности земли, что никто из заинтересованных лиц, прочитав вашу статью после назначения негодяя, не мог бы сказать: “А я этого не знал, Мезонье открыл мне глаза” или их любимое: “Вот мерзавец! Иметь такие факты и так молчать! Значит, он ждал удобного момента для устройства всемирного скандала! Вот вам честь прессы! Вот вам ее подрывная роль!” Нет, все отлично всё знали.

Я смотрел на моего собеседника, а он хитро улыбался, показывая, что он несравненно больше скрывает, чем говорит, – очевидно, мне следовало бы его попросить, раз уж он начал говорить, выложить мне на стол все, но я был так утомлен, так мне было все противно и на все наплевать, что я только спросил:

– Итак, смерть Гарднера сыграла на руку его покровителям?

– О! – воскликнул он радостно. – Вот наконец вы и поняли кое-что! Да, дорогой Ганс, есть, видимо, такие счастливицы, которым помогает все на свете – деньги, люди и даже несчастные случаи. Кое-кому повезло опять. Вот как называется то, что случилось в загородной роще неделю тому назад.

На этом разговор наш и окончился. А утром я получил повестку с золотым гербом на бристольском картоне – вызов канцелярии королевского прокурора на час дня. После обычной формулы приглашения стояло: “По делу об убийстве бывшего военнослужащего немецких оккупационных войск в Европе полковника Иоганна Гарднера”. Я не выдержал характера, пришел раньше назначенного часа и в наказание за это наткнулся в приемной на редактора фашистского листка. Он сидел ко мне спиной за столом, что-то быстро строча в блокноте, и когда я обратился к нему с вопросом о начале приема, он поднял на меня глаза и заулыбался.

– Сейчас, сейчас вас примут, господин Мезонье, – сказал он добродушно, – и вас, и меня. Секретарь только что увидел вас из окна и пошел с докладом к начальнику. О, вас все тут знают!

И всегда я попадаю в такие истории! Но отступать было уже поздно – я ведь сам к нему подошел, – и поэтому я спросил:

– А вы по какому делу?

Он безнадежно махнул рукой.

– Да все по тому же. Только какое я имею отношение к Гарднеру? – он слегка развел ладони. – Ваша легкая рука! Это ведь вы меня вместе с ним – и не скажу, чтобы удачно, – взяли заодно в общие квадратные скобки. Я-то так и понял: это прием публициста, и не больше. А тут, видимо, смотрят иначе – конечно, прокуратура!

Но тут открылась тяжелая дверь, обитая черной кожей, и секретарь пригласил меня к его превосходительству.

Как только я появился на пороге, прокурор почтительно поднялся из-за стола и пошел мне навстречу с протянутой рукой. Мы были давно знакомы. Оба носили на лацкане пиджака весы и сову – эмблему высшей школы юридических наук (он окончил ее раньше меня на десять лет), оба чуть ли не дважды в неделю просиживали по несколько часов за одной шахматной доской в клубе, и поэтому то, что ему, моему доброму знакомому, сейчас приходится говорить со мной в кабинете королевского прокурора и как прокурору, смущало и озадачивало его. С минуту мы вообще говорили черт знает о чем – и о шахматах, и о здоровье, и чуть ли не о погоде. Потом он сразу посерьезнел.

– А сейчас, дорогой друг, – сказал он, усаживая меня возле небольшого секретарского столика и опускаясь в кресло сам, – возвратимся к нашим несчастным баранам. Дело есть дело, и строг закон, но закон! Нам приходится с вами беседовать по очень неприятному делу,

хотя, говоря по-честному, виноваты не вы и не я, а те идиоты, которые не вздернули негодяя еще десять лет тому назад. Но факт есть факт, Гарднера не повесили в сорок пятом году, а убили на третий день после появления вашей статьи, и это в корне изменило все дело. Именно поэтому мне приходится беседовать с вами в качестве королевского прокурора, и ничего тут не попишешь. Вы, зная меня, угадываете, кому отданы мои симпатии, и поэтому понимаете и то, насколько сложно мое положение. Курите, пожалуйста, эта дощечка только для моего секретаря.

– Мое еще сложнее, – усмехнулся я, выбирая из его портсигара папиросу. – Мне приходится доказывать вам, высшему блюстителю закона страны, аксиому, известную любому школьнику: “после этого” еще не значит “ввиду этого”. Гарднер действительно погиб после моей статьи, но это и все, что вы сможете доказать. Причинной связи вы здесь не установите.

– Ну что ж, я знал, что вы мне ответите именно так, – улыбнулся прокурор и, взяв себе папиросу, закрыл портсигар. – Действительно: как доказать, что Гарднер убит по вашему подстрекательству? Конечно, если ставить вопрос так, то вы для меня как для прокурора полностью недостижимы. Тут даже анонимные письма, ежедневно приходящие в адрес полицей-президиума или королевской прокуратуры, не помогут. Хотя надо вам сказать, что я получил и такое, где стояло просто черным по белому: “Убил Гарднера я, бывший борец фронта Сопротивления, узнав из статьи Мезонье о том, что выделял этот мерзавец. В то время, когда мы, патриоты, сидели в подполье, этот изверг...” Ну и так далее на десяти страницах. Но ясно, что такое письмо может написать всякий ваш недруг специально для того, чтобы посадить вас на скамью подсудимых. Нет, вся беда, друг мой, в том, что от вашей статьи пахнет убийством. Она криминальна сама по себе. Именно только с этой стороны королевская прокуратура и смотрит на ваше дело. Только с этой. И больше ни с какой. Вы знаете, как наш закон определяет подстрекательство? – И он продекламировал: – “Призывы через печать или листовки, размноженные типографским, стеклографическим или всяким иным способом, к совершению террористических актов против лиц, не занимающихся в момент преступления государственной, политической или общественной деятельностью”. Санкция статьи до года одиночного заключения... Год одиночки! Вот и все, что вам грозит.

Он говорил очень ласково и тихо, смотря мне в глаза. Но я-то отлично видел, насколько серьезно все, что он на меня двинул, и насколько мало я могу сейчас рассчитывать на какую-то справедливость. На минуту мне даже сделалось страшно. Ведь что я ни говори, о чем я ни кричи, а стену, воздвигнутую им против меня, уже не пробьешь ни кулаком, ни ломом. И тем не менее, подчиняясь голому инстинкту отбиваться, когда на меня насакаивают из-за угла, я сказал:

– Но если, как вы говорите, убитый – мерзавец, заслуживающий веревки, а факты, изложенные в статье, правдивы, то тогда в чем моя вина?

Он пожал плечами и успокаивающе улыбнулся.

– Повторяю: в подстрекательстве через печать и ни на одну букву больше. Вы говорите, все факты вашей статьи правдивы. Но, дорогой коллега, во-первых, закон не входит в обсуждение оценки личности жертвы, а во-вторых, излагать факты можно по-разному – в криминальном случае так, чтоб в конце их обязательно следовал вывод: “Бей!” – или еще лучше: “Убей”. Если мы констатируем такое намерение автора статьи и такое изложение фактов, мы должны ставить вопрос о подстрекательстве, даже не затрагивая вопроса, кто является объектом нападения и насколько он его заслуживает. В вашем деле именно такой случай. – Он помолчал и вдруг спросил: – Вам ясно, коллега, насколько ограничительно мы смотрим на вашу ответственность?

Я развел руками.

– Но я-то не говорил ни “бей”, ни “убивай”.

Прокурор хмыкнул и хитро погрозил мне пальцем.

– Коллега, коллега, мы же с вами оба юристы и оба все понимаем! Важен не грамматический, а правовой аспект фразы. Да, буквально вы нигде не написали “убей”. Ну и что из этого? Призыв есть призыв. В этом-то все и дело! И, говоря строго между нами, убийство все-таки налицо, и если мы закрываем глаза на труп нациста, то это не значит, что мы его не видим.

Я молчал.

– Одним словом, сейчас я отдал вашу статью на изучение и консультацию. Как только будет установлено в ней наличие момента подстрекательства, то есть призыва к убийству лица, находящегося под государственной защитой, мы возбудим против вас формальное криминальное преследование и отдадим под суд. Ну а какой будет приговор, это уж дело совести присяжных. Это, так сказать, одна сторона дела. Но есть и другая. Есть, к сожалению, и другая. – Он взял со стола какую-то папку и положил ее перед собой. – А может быть, впрочем, и к счастью. Это смотря по тому, к какому соглашению мы сейчас придем. Речь идет о втором “разоблаченном” вами, журналисте, статью которого вы так заостренно, с восклицательными знаками и скобками в середине, но, извините, не всегда вполне лояльно и уместно цитировали.

– А он, кстати, вместе со мной ждал приема, – напомнил я. – Но почему же неуместно и нелояльно?

– Да прежде всего потому, что вы, извините, передернули карты! – спокойно воскликнул прокурор. – Вы пишете: “статья”, а цитируется-то письмо, пусть коллективное, но все равно только письмо – документ совершенно частный и нигде не напечатанный.

– А что это было за письмо, вы знаете? – спросил я.

– О, не беспокойтесь, ваша фотокопия у меня, – значительно улыбнулся прокурор и постучал пальцами по папке. – Вот она! Документ, конечно, на редкость подлый, но опять-таки я же говорю не о моральной оценке его, а о том формальном и, простите, совершенно неоспоримом нарушении права, которое вы имели неосторожность допустить. Называя письмо статьей и предавая гласности то, что имеет частный характер, вы совершаете преступление. Право опять-таки отнюдь не на вашей стороне. Поэтому, когда потерпевший обратился ко мне с жалобой...

Тут меня наконец взорвало окончательно, и я спросил грубо и прямо:

– Прямо-таки к вам? К самому королевскому прокурору? Этот фашист? С жалобой на оскорбление в печати? Да за кого, ваше превосходительство, вы, наконец, меня принимаете?

Я думал, он также закричит на меня, но он улыбался все добрее и добрее.

– Да ведь в этом-то и весь вопрос, дорогой господин Мезонье, – сказал он очень добродушно и даже фамильярно. – В том-то и вопрос, за кого мне вас принимать. Вот говорят: “Принимай его за коммуниста”. Я отвечаю им: “На это у меня нет никаких оснований, да и впечатление он оставляет совсем иное”. Другие говорят: “Считай его за честного журналиста”. “А что такое «честный журналист»? – спрашиваю я их. – По отношению к кому он честен? Кому он служит? Его статьи, составленные вместе, представляют определенную систему нападений, направленную прямо против основных ценностей нашего мира. В том числе против, – он стал загибать пальцы, – содружества с нашим великим другом – раз, против права нашей маленькой нации быть великодушной и незлопамятной – два, против основ нашей послевоенной политики – три, против основ нашей конституции – четыре, против жизни честных граждан, привлеченных к делу охраны безопасности Европы, – пять!” Хватит? Вот видите, что получается, – и он показал мне сжатый кулак.

– Эти речи, ваше превосходительство, я уже однажды слышал из одного рупора, – сказал я, – только не знал фамилии диктора.

Я думал, что он хоть тут рассердится, но он только встал, подошел и обнял меня за плечи.

– Дорогой господин Мезонье, а я ведь не диктор, – сказал он шаловливо, – вернее, я диктор, но никак не автор текста. Беда в том, что вы, мой дорогой, честный, но, увы, неосторожный друг, не учли нескольких важнейших моментов сегодняшней мировой обстановки и реальной

расстановки сил. Отсюда и все ваши болести. Впрочем, давайте попытаемся что-нибудь сделать для их врачевания.

Он подошел к столу, поднял телефонную трубку и приказал секретарю вызвать из комнаты ожидания редактора.

Фашист вошел и сел на второй стул, сбоку стола королевского прокурора, так что теперь я сидел перед ними обоими, как на скамье подсудимых.

– Ну вот, – сказал прокурор, – все мы в сборе, и давайте кончать это дело. Я не знаю в стране человека, который пожалел бы того негодяя. Свое он получил звонкой монетой, но мы-то...

Мне очень трудно передать полностью свои ощущения от всего этого разговора, но это было чувство какого-то совершенно неподвижного, безмолвного и даже просто тупого удивления, пожалуй, даже ошеломления всем тем, что происходит. Я не кричал, не протестовал, не возмущался, я даже не расспрашивал ни о чем. Просто вдруг в совершенно ясном и четком свете я увидел то, о чем даже и догадываться-то не смел, – все эти темные лазы, черные ходы, разбойничьи подземелья, которыми были связаны все корпуса и фасады нашей государственности. Все вдруг оказалось совершенно иным. Там, где я видел политических врагов – судью и преступника, – оказались тайные, но преданные друзья, связанные общностью преступления, и в свете их общих задач вдруг прокурор стал не прокурором, Гарднер – не Гарднером и преступник – не преступником. Внезапность этой перемены была настолько ошеломляющей, что я не сумел ни оценить, ни понять ее сразу, а только смутно почувствовал, что отныне все, что у меня было – моя вера в людей, мои убеждения, то дело, над которым я, правда, лениво и вяло, но зато с полной верой работал всю жизнь, взгляды, которые я исповедовал, и даже моя профессия и годы учения, – все полетело к дьяволу. А как начинать сызнова, за что хвататься и с чем бороться насмерть, я еще не знал. И когда высокий холеный человек в роговых очках, курящий папиросы специальной марки, не притворяющийся королевским прокурором, а всамделишный королевский прокурор, сказал мне добродушно и дружески: “Давайте-ка кончать это дело миром!” – я не нашелся, что ответить ему.

Зато фашист с очаровательной улыбкой ответил за меня с другого конца прокурорского стола:

– А я всегда предпочитаю мир и всегда думаю, что нечего работать на третьего радующегося. Я согласен. Давайте скорее покончим с этим недоразумением.

– Тем более, – сказал прокурор, – что уже по вашей фотокопии видно, что нашему коллеге принадлежит только стилистическая правка документа, конечно, печального, но-о...

– Не совсем, не совсем, – вмешался фашист. – Я не только выправил документ, я его фактически обезвредил, так что в нем не осталось его ядовитых жал. В этом-то и есть моя претензия к вам, господин Мезонье. Вы написали про меня: “Составил нацистскую декларацию, доведшую моего отца до самоубийства”, – а я отвечаю: нет, ничего я не составлял, наоборот, настолько обезвредил декларацию, написанную в стенах института, что ее и печатать-то не стали. Именно поэтому она и осталась в бумагах вашего покойного батюшки в виде чернового проекта. Иными словами, я не породил эту гадину, а раздавил ее. Вот факты.

– И эти факты вы, Ганс, никак не сможете отрицать, – серьезно сказал прокурор, так серьезно, что я почти поверил в его искренность, – в этом-то все и дело.

– Все дело в том, что мой отец погиб после того, как прочитал эту декларацию, – ответил я сдержанно. – Вот тут “после того” значило именно “ввиду этого”. Это я и доказываю. А опубликовать эту бумажонку после его смерти не имело уже ровно никакого смысла.

Тут фашист закричал: “Однако же позвольте”, – а я стукнул кулаком по столу и крикнул:

– Ничего я вам не позволю, гестаповец вы этакий! Слушайте, господа, я уже совершенно перестал понимать, что у нас такое происходит. Вы, автор грязной, подлейшей бумажонки,

оказываетесь благодетелем моего убитого вами отца. И вот я публикую несколько строк из этой гадости, причем у меня на руках имеется и подлинник, дающий мне полное право утверждать, что вы схвачены за шиворот, тогда как у вас в руках есть фотокопия, отнимающая у вас право отрицать это, и что же получается? Восстает правосудие, смертельно оскорбленное. Кем? Мною! Чем? Тем, что я ему указал на преступников. Я – убийца и подстрекатель, а вы – герой и друг королевского прокурора. И вот все вы вместе, во главе с тенью мертвого Гарднера и клянясь его именем, устремляетесь на меня во имя чести и справедливости, гуманности и еще черт знает чего. Да в уме ли вы, господа? Вот уж именно: “В наш жирный век добродетель должна просить прощения у порока за то, что она существует”.

Наступила тяжелая пауза, потом королевский прокурор развел руками и сказал:

– Ну, что же, тогда, пожалуй, все! Дошло уже до Шекспира! И того в гробу потревожили! – Фашист молчал. Прокурор повернулся ко мне: – Поверьте, мне очень жаль, Ганс, что все происходит именно так, но, в конце концов, что же я могу сделать? – Он встал. – Прощайте, господа, – сказал он печально. – Желаю всего хорошего.

Так мы и разошлись.

... Вот обо всем этом я и рассказал при новой встрече Юрию Крыжевичу. Он сидел, слушал, а потом вдруг сказал:

– И все-таки я вижу, что вы таки ничего и не поняли.

– Боюсь, что все понял, – ответил я.

– Боюсь, что ничего ровно не поняли, – отпарировал он. – Начнем с исходного пункта. Вы впервые встретились с Гарднером неделю тому назад. Раньше его в городе не было. Зачем же он приехал?

Я пожал плечами.

– Для вас тогда был вопрос, но ваш коллега объяснил вам, в чем дело. Бандита назначили на очень высокий международный пост, вот он и явился за ним. Я уточню. Здесь находится штаб-квартира того отдела объединенной международной полиции, во главе которой его и собирались поставить, заметьте – как крупнейшего специалиста по политическому сыску. Но тут произошло то, что они должны были предвидеть, но, конечно, не предвидели. Его встретил один из облагодетельствованных им, то есть вы, и сразу загорелся и развил бешеную деятельность. В результате всяких правд и неправд вам удалось протащить верблюда через игольное ушко, то есть разгромную статью о подвигах этого разбойника через газету. А это конкретно значило, что хозяева Гарднера попали в ужасное положение. Вы не только вырвали из колоды короля, но и сорвали весь их банк начисто, и если бы эта история продолжалась, дело дошло бы до запросов и тогда кое-кто слетел бы с поста. Но ведь их всегда выручает случайность. Гарднер случайно погибает от руки неизвестного, и сразу все меняется. Во-первых, отпадают все разговоры о прошлом Гарднера, так же как и розыски покровителей Гарднера в правительстве, а назойливый журналист, то есть ваша милость, не только лишился прав задавать правительству каверзные вопросы и требовать ответа, но, наоборот, вдруг сам оказался привлеченным к ответу – ибо кто бы там ни убил Гарднера (а этот убийца, будьте уверены, никогда не будет разыскан), но преступник отныне именно этот назойливый и чрезмерно активный молодой человек, который суется в воду, не зная броду, и тут уж насчет него возможны всякие соображения. Если он быстро не поймет, что произошло, то его можно и за решетку. А самое главное – вдруг открылись неограниченные возможности вообще ударить по всей печати определенного рода. Вот, мол, до чего доводят такие статьи! Такие, с позволения сказать, разоблачения! До охоты за черепами! До убийств в предместье! До суда Линча! Понимаете? Вы говорите, что видели там этого прохвоста? Ну, это и есть его работа: он – заведующий отделом печати прокуратуры. Для редактора фашистского листка это сейчас самая подходящая должность на свете.

Он говорил спокойно, ровно, не повышая и не понижая голоса. А я давно уже понял, не только что это правда, но и чьих это рук дело.

– Так что же теперь делать? – вырвалось у меня.

Он встал, застегнул плащ, взял со стола шляпу и, держа ее в руке на отлете, ответил:

– Ничего. Ждать. Посмотрим, до чего они посмеют дойти.

Но, по существу, и ждать-то было нечего. События обрушились на меня сразу, как лавина. Мне очень трудно описать, как и что это было, потому что ясного в памяти моей осталось немного.

Дня через два после этого разговора я зашел в клуб и опять встретился с прокурором. Он страшно обрадовался. На этот раз мы говорили почти исключительно о шахматах – в городе только что прошел турнир на первенство страны, – и уже на прощание он мне сказал:

– А шеф ваш был перепуган до чрезвычайности, не за вас, конечно, а за газету, но я ему обещал, что газету-то мы не тронем.

У меня чуть не вырвалось: “А меня?” – но я вовремя спохватился и только пожал ему руку. Было уже совершенно ясно, что гроза разразится надо мной вот-вот. Но она грянула буквально через несколько минут.

Когда я спустился к вешалке, ко мне подошел один из секретарей клуба и, отозвав меня в сторону, вполголоса сказал, что по делу Сюзанны Сабо – девочки, застрелившей своего отца, – меня хочет видеть какая-то женщина. Я позабыл сказать о том, что девочку, как невменяемую, прямо с суда отправили в одну из больниц для морально дефективных больных, где она находилась уже второй год. Дело Сабо в свое время меня очень заинтересовало, и я посвятил ему целый цикл небольших заметок под заглавием “Погубившие малых сих”. Это и было моей основной мыслью. А тезис цикла был: “Не убийца, а убитый виноват”. Ибо действительно, убитый – отец девочки – казался мне виноватым значительно больше, чем его малолетняя убийца. На процессе выяснилось, как тщательно и любовно выращивали родители в ребенке того зверя, который под конец и слопал их обоих. Какие книжки они ей покупали, каким диким играм обучали, какие страшные истории рассказывали, на кого натравливали и от чего остерегали. Я приветствовал оправдательный приговор еще потому, что, как мне показалось, присяжные – два почтальона, два лавочника, один шофер – поняли ту сокровенную сущность дела, которая оказалась недоступной для всех профессоров психологии и криминалистики, и именно поэтому в пику им и оправдали убийцу. Понятно, что, когда мне сказали о посетительнице, которая хочет сообщить нечто новое об этом деле, моим первым движением было спросить:

– Где же она?

– Я провел ее в библиотеку, – ответил секретарь нехотя. И только что я пошел, окликнул: – Постойте! Не лучше ли сказать ей, что вы сегодня уже уехали и вас надо искать завтра в редакции?

– А что такое? – спросил я, приостановившись. Так же нехотя он ответил:

– Да ничего, только странная она какая-то, пьяна или кокаинистка. Черт знает, кто она...

– Ну, посмотрим, – сказал я бодро.

И только вошел в библиотеку, как увидел ее.

Она стояла возле шкафа, маленькая, худенькая, в каком-то покрывале или темном пледе. Лица ее мне не было видно, но я почему-то остро и быстро подумал: “А ведь, пожалуй, лучше бы в самом деле завтра в редакции...” Я громко спросил:

– А что же он вас оставил тут? Пройдем в зал.

Она покачала головой и отбросила от лица плед.

Тут я и увидел, что она и есть Сюзанна Сабо. Признаюсь, я был так ошеломлен, что пробормотал что-то глупое, вроде того: “Так вас, Сюзанна, разве выпустили? Давно ли? Я не знал...”

– Два дня назад. Меня взял на поруки мой друг. – Она выговорила это четко, жестоко, хлестко, не двигаясь и смотря мне прямо в глаза.

Я тоже смотрел на нее и видел, как она возмужала, огрубела за эти два года. Тогда это была просто девчонка, завитая и подкрашенная, позирующая и изломанная (это когда ей, например, задавал вопросы королевский прокурор или когда она чувствовала на себе глаз фотоаппарата), такая же простая, как и все девчонки ее возраста, когда их постигает горе. Однажды я видел, как она – это было в перерыве – сидела в полутемном зале, о чем-то тихо разговаривала с конвоиром, здоровым рябым парнем с добродушным плоским лицом и пышными усами, и задумчиво сосала дешевую карамельку в пестрой обертке. Рядом с ней на деревянной лавке лежал бумажный пакет. Именно тогда, поглядев на этот мятый бумажный кулек, на эту карамельку в тоненькой руке, я и понял, не умом, а всем своим существом, остро, твердо и совершенно бесспорно, – вот это-то и называется, наверное, “меня как осенило!”, – что не убийца, а убитый виноват, и название статьи – “Погубившие малых сих” – само пришло мне в голову. Но сейчас передо мной была уже не девочка и даже не девушка, а взрослая, издерганная женщина. У нее было худое, страшно бледное, несколько припухшее лицо, яркие, ядовитые губы, вырисованные с особой тщательностью, глубокие черные глаза, обведенные бурой синевой. Они глядели на меня откуда-то из необъятной глубины, и этот взгляд выражал чувство такого одиночества и незащитности, что мне сразу стало и тоскливо, и жутко. Вообще в этой темной комнате, где горел только верхний зеленый свет и тускло поблескивали дубовые шкафы, было неестественно тихо и мертво, и центром этой тишины была именно она, как бы струящая это молчание. Все это мной владело всего несколько секунд. Потом я сбросил с себя оцепенение и спросил очень четко и даже резковато:

– Но чем же я вам могу быть сейчас полезным? Ведь у вас все устраивается как нельзя лучше.

Стоя так же неподвижно, скрестя руки под пледом (такие женщины всегда что-то изображают – Изиду ли, статую ли, знаменитую ли актрису), она сказала ровно и невыразительно:

– Мне вас жалко! – И прибавила: – Очень, очень жалко!

Я вдруг вспомнил, что имею дело с сумасшедшей, скорее всего, сбежавшей из лечебницы, и поэтому ответил:

– И я вас тогда тоже жалел.

– А! Это все не то, – ответила она досадливо. – Мне жалко потому, что вас хотят убить.

– За что же, дорогая? – спросил я ласково. – Что я сделал плохого?

– Ну да все равно, – оборвала она вдруг себя, – черт с вами! – И, не целясь, не стремясь попасть, вдруг вырвала руку из-под пледа и выстрелила в меня раз и другой.

Боли я не почувствовал, только удар в бедро, такой резкий, что мне показалось, будто у меня вихрем оторвало ногу. Пол стал стеной под моими ногами, я осел и закрыл голову, но она больше и не стреляла, а только ударила с размаху ногой в деревянную перегородку шкафа, так, что он весь загудел и из него со звоном посыпались стекла.

– Довольно крови, довольно убийств! – сказала она ровно, заученно и громко, как в жестяной рупор.

И вдруг – раз! раз! раз! – выстрелила в потолок еще три раза.

Когда вбежали люди – секретарь, королевский прокурор, еще кто-то, – она выстрелила шестой раз. Просто вскинула руку поверх их голов и пустила пулю в бронзовый бюст Роденбаха. Когда на нее налетели, подмяли, обезоружили, она не сопротивлялась, а только, лежа на полу, повторяла громко, хрипло и спокойно, высоко поднимая голову:

– Довольно крови! Крови довольно! Довольно, довольно, довольно!

А дальше все пошло так, что сразу стало ясно: покушение – только последний акт хорошо продуманной и даже, вероятно, где-то уже прорепетированной пьесы. Меня доставили в больницу, и на другой день явился заместитель прокурора. Он выразил мне соболезнование, поговорил со мной о том о сем – мы были немного знакомы, – а уходя, предъявил мне два постановления: одно – о привлечении меня к ответственности по такой-то статье уголовного кодекса и

по такому-то примечанию к ней – и другое – об избрании меры пресечения (подписка о невыезде) ввиду того, что по состоянию здоровья обвиняемый участвовать в следствии и суде не может. А далее газеты принесли сообщение, что известная всему миру Сюзанна Сабо, вообразившая себя новой Шарлоттой Корде, по постановлению королевского прокурора возвращена обратно в больницу, ибо вопрос о ее невменяемости был уже однажды разрешен в судебном порядке, а с тех пор состояние больной не улучшилось. Врач, давший согласие на ее выписку из больницы, привлечен к дисциплинарной ответственности. Несмотря на это, большинство газет поместило ее развернутое интервью на тему о покушении на убийство журналиста Ганса Мезонье. “Я очень жалею, – заявляла она корреспондентам, – что меня под явно вымышленным предлогом отказались отдать под суд. Я бы доказала, что дело отнюдь не в несчастном Гансе Мезонье, что мой выстрел, как и все то, что побудило меня к нему, – единственный путь к спасению нации”. Эти слова газеты печатали крупно под ее портретом и фотографией того угла библиотеки, из которого она стреляла в меня. Затем появилась публикация полиции о том, что разыскивается Юрий Крыжевич, причастный к убийству Гарднера. Потом сообщение о том, что, по сведениям бюро уголовного розыска, он покинул пределы страны и находится вне пределов досягаемости. Вот тогда и затрещали все правые газеты. О чем они только не писали! Об уголовниках, которым почему-то разрешают приезжать в нашу мирную страну и среди бела дня охотиться на неугодных им людей, о болванах в наших министерствах, которые этому покровительствуют, о подрывной роли так называемой независимой прессы, о продажных писаках, которые поражают своих врагов не только пером и сарказмом, но и самым настоящим кинжалом; снова обо мне, но уже прямо, называя по фамилии, как о недостойном сыне великого отца, продавшем свое первородство и совесть за чечевичную похлебку. И, наконец, о темной и зловещей фигуре Юрия Крыжевича, что стоит за моей спиной. И, дойдя до него, газеты задали ряд вопросов. (О, как сразу же я почувствовал за их воем дирижерскую палочку моего старинного знакомца – редактора фашистского листка, заведующего отделом прессы прокуратуры!) Разве история садовника Курта, спрашивали газеты, сумевшего проникнуть в дом профессора, ясна до самого конца? Разве обстоятельства смерти профессора не окутаны до сих пор густым туманом? А рукопись? Рукопись итогового труда профессора, над которой он работал двадцать лет? Как она смогла исчезнуть из дома, захваченного нацистами, и очутиться за границей? Говорят, профессор завещал ее Академии наук СССР? Хорошо. Но кто видел подлинную рукопись? Покажите нам ее, и мы поверим, а пока мы спрашиваем коммунистов: “Чем вы докажете, что это не подлог?” Сначала это были только риторические вопросы, но потом газеты заговорили по-иному. “Недурно бы, – писали они, – обо всех этих странностях допросить (обратите внимание: не «спросить», а именно «допросить») сына покойного, который, кстати, сейчас находится под судом за подстрекательство к убийству. Конечно, по всей вероятности, этот прыткий молодой человек либо отмолчится, либо предпочтет сказать, что он ничего не знает и ничего не помнит – ему тогда ведь было всего-навсего двенадцать лет! Но ведь и то сказать: как он ответит, это больше всего зависит от того, кто с ним будет разговаривать и как разговаривать. Если умело спрашивать, то, вероятно, кое-что придется и припомнить”. Так писали газеты, и я узнавал голоса моих старых приятелей из прокуратуры. Они-то и натолкнули меня на мысль написать эти записки. Но только, господин заведующий пресс-бюро прокуратуры и господин королевский прокурор, вам не придется прибегать к столь хорошо известным вам по годам оккупации методам – я все отлично помню и все знаю, вы это увидите из моего рассказа. Только рассказывать я буду не вам и не вашим покровителям – вам все это известно и без меня. Я хочу рассказать эту историю всем моим соотечественникам, всем людям земного шара – если они захотят меня слушать. Конечно, не все я видел сам – кое-что мне стало известно от других, кое о чем я прочел в газетах и официальных документах, кое-что, наконец, я просто додумал, – но, так или иначе, история смерти моего отца – история страшная и поучительная, и над уроками ее стоит подумать.

Часть первая

...Пришел бандит и, не долго думая, взял да и погасил огонь мысли. Он ничего не страшился, ни современников, ни потомков, и с одинаковым неразумением накладывал гасильник и на отдельные человеческие жизни, и на общее течение ее. Успех такого рода извергов – одна из ужаснейших тайн истории; но раз эта тайна прокралась в мир, все существующее, конкретное и отвлеченное, реальное и фантастическое – все покоряется гнету ее.

Салтыков-Щедрин, “За рубежом”

Глава первая

Я до сих пор помню о том, каким образом у нас в доме впервые заговорили о Карле Войцике.

Отец мой, директор Международного института палеоантропологии и предистории, профессор Мезонье, любил себя сравнивать с героями древности.

Так, когда немецкие войска вошли в наш город, он сказал моей матери:

– Я остался здесь, чтобы, как Архимед, охранять свои чертежи.

После этого он ушел в кабинет и хлопнул дверью, а мать целый день возилась со своим фарфором, и глаза у нее были красные.

Конец Архимеда был известен и ей.

Вечером следующего дня я увидел и первого живого немца. По правде сказать, он был совсем не таким страшным, как я ожидал сначала.

Но начну по порядку.

С утра по городу ходили тревожные слухи, говорили об облавах, арестах, массовых расстрелах. Например, рассказывали такое: шел человек мимо здания префектуры и вынул носовой платок, чтобы обтереть лицо, а часовой приложился и – бабах! – ковырнул человека прямо в лужу. Из здания на выстрел выскочило несколько военных, часовой равнодушно сказал им: “Уберите шпиона!” – и человека взяли за ноги и куда-то оттащили.

– Господи, что будет с нами дальше? – всхлинула горничная Марта, принесшая этот рассказ в кухню из города.

– Что будет с нами? – спросил садовник Курт (он когда-то работал у родителей моей матери и теперь, после многолетнего перерыва, откуда-то появился опять в городе). – А вот что. Я когда-то читал одну занимательную книгу. В ней военный за дружеской попойкой разъяснял своим собутыльникам смысл войны. “Что бы там ни писали в газетах, – говорил он, – война состоит в том, чтобы красть кур и поросят у крестьян”. И в доказательство этого тут же приводилась старая галльская пословица: “У солдата жена – кража”.

– Ох, если бы только кража! – мечтательно вздохнула горничная Марта. – Разве кто-нибудь погнался за курицей или поросенком... А вот говорят, что на перилах Королевского моста...

– Стойте, одну минуту! – воскликнул садовник Курт и поднял растопыренную пятерню. – Во-первых, так говорили в восемнадцатом веке, а сейчас у нас половина двадцатого...

– Ну вот видите! – укоризненно сказала Марта.

– Потом – не забывайте, что это говорил французский офицер, а мы имеем дело с немцами, и, наконец, главное – офицер этот нацизм не исповедовал. Значит, поросенок и курица,

мадемуазель Марта, это далекое прошлое. Сейчас же у немецкого солдата жена не кража, а грабеж плюс убийство.

– Говорите тише, – сказала мать, – вас можно услышать и на улице.

– Извините, сударыня, но это не секрет. Немецкий солдат не из стеснительных. Да, так вы спрашивали, Марта, что будет с нами? А вот что! Они присмотрятся и начнут шарить. Увидят дома хорошую скатерть – сдернут вместе с посудой. Понравится, скажем, сапог, – тут он выставил ногу свою в блестящем желтом сапоге и повертел ею в разные стороны, – и сапог сдернут, и ногу отрубят. Увидят, что старуха тащит курицу, – застрелят и старуху, и курицу. Курицу – в суп, старуху – в огород, чертей пугать...

– Бог знает что вы говорите, Курт! – сказала горничная Марта: она была богобоязненная женщина и не любила, когда поминали имя нечистого.

– Одну минуту, мадемуазель Марта, – сказал Курт весело. – Сейчас разговор пойдет и о вас. И вот выходите, скажем, вы на улицу. Вот так, как вы есть сейчас: в белом переднике, в наколке, с этой очаровательной розой в волосах. А по улице ходит немецкий солдат...

Мать подошла ко мне и взяла меня за плечи.

– Иди, иди в комнаты, – сказала она. – Подумать, целый день он вертится в кухне! Посмотри, что там делает отец.

В столовой было уже темно, и низкое раскаленное небо быстро мутнело и остывало, принимая зеленоватые тона. Чувствовалось, что скоро должны были прорезаться первые молодые звезды. На окне четким квадратом обозначалась клетка с ручным снегирем; его пухлая, грушевидная фигура ярко рисовалась на фоне еще светлого неба. Под ним, в кресле, такой же пухлый, неподвижный и молчаливый, сидел ученый хранитель музея Иоганн Ланэ. Он посаживал толстую пенковую трубку в виде нагой женщины, и вокруг него стояло неподвижное и зловонное облако дыма.

Рядом в огромном кожаном кресле сидел вице-директор института доктор Ганка.

Отец ходил по столовой тяжелыми, злыми шагами, и в такт им звенело и подпрыгивало волшебное фарфоровое царство матери за стеклянными переборками шкафа.

Размахивая окурком, отец говорил:

– Антропометрия, антропометрия! Они теперь все помешались на этом. Ох, если бы дело было так просто, что простым промером можно было бы определить, где гений, где преступник, где просто золотая посредственность! Но на этом полвека тому назад сломал себе шею мой уважаемый коллега Чезаре Ломброзо, а он был настоящий ученый. Ведь в том-то и дело, что неизвестно, где и в каких недрах черепа таится таинственный человеческий интеллект.

– Ну, это более или менее им ясно, профессор, – устало улыбнулся Ганка. – Когда они расстреливают, то всегда метят в затылок. Значит, в нем все и дело! Что у человека мозг для того, чтобы думать, это они уяснили себе хорошо. Поэтому в Германии и рубят головы.

Он так ушел в кресло, что видны были только его маленькие желтые руки на поручнях и голова.

Голова у Ганки была большая, круглая, волосы на ней росли плохо, и казалось, что только по ошибке она попала на его костлявые плечи.

– Вот вы смеетесь, Ганка, – сказал отец с тяжелой укоризной, – а ведь в одном этом заключается разница мировоззрений. Для нас человеческий мозг – это святая святых, перед которой делаются жалкими все недоступнейшие тайны природы. Мы с вами знаем, что в этом узком пространстве заключены силы, переделывающие мир. Помню, например, с каким трепетом я рассматривал черепную кость питекантропа. Вот, думал я тогда, из этого узкого, темного костного ларца вышло впервые сокровище человеческой мысли. Все высокое, прекрасное, разумное, что создано пером, кистью или резцом, – тут отец остановился, он любил и умел говорить, фразы выходили из его губ гладкие, законченные и звучные; недаром же его любимым писателем был Сенека, – все, прежде чем воплотиться в книге, мраморе или живо-

писи, должно было выкристаллизовываться в человеческом мозгу. Природа безобразна, дика и неразумна, прекрасен только человек и то, что творит его разум. О, человеческий мозг – это самый благородный металл вселенной! И в этом отношении черепная коробка питекантропа в тысячу раз совершеннее Венеры Милосской.

Он остановился.

– Вы знаете, в России есть Институт мозга, где целый штат профессоров и академиков пытается нащупать пути к этой недоступной для нас тайне. А они!.. Боже мой, как у них все просто! Кронциркуль, две-три формулы, какая-нибудь таблица промеров – вот и всё. Право, не больше, чем в сумке коновала. Впрочем, оно и понятно. Мы изучаем череп для того, чтобы делать человека еще более мудрым, а они – чтобы превратить его в скота. Вот посмотрите, пожалуйста... – Он схватил со стола какую-то книгу и стал ее быстро перелистывать. – Вот-вот, это действительно интересно! – Он с треском, как веер, развернул какую-то таблицу. – “Показатель антропометрических промеров черепов нордической расы, из нормандских погребений одиннадцатого – тринадцатого веков, второго и третьего порядка”. Слог-то, слог какой, обратили внимание, господа? Так вот, по этой самой таблице – хотя бы по этой самой таблице! – я с удовольствием измерил бы череп самого Геббельса, с предисловием которого вышла эта пакость.

– И ничего бы у вас не вышло, профессор, – сказал Ганка. – Я как-то видел его – это маленькая злая мартышка, ни под какую мерку он не подходит.

Отец свирепо швырнул в угол книгу немецкого профессора.

Снегирь в клетке вздрогнул и неясно щебетнул со сна.

– А что мне в их лавочке! – раздражительно сказал отец. – Если бы они были только кастратами или коновалами! Но они больны некроманией. Посмотрите, как они упорно рядятся в лохмотья, сташенные с покойников. Они щеголяют во фраке Ницше или жилетке моего покойного коллеги Ратцеля, и все-таки даже это зловонное тряпье слишком для них изящно. Они распарывают его по швам, когда надевают на себя. Поэтому от всех их книг несет мертвечиной, а хуже этого запаха я уж ничего не знаю.

– Есть хуже, – сказал Ганка и улыбнулся, показывая маленькие острые зубы. – Мы доктора и привыкли к воздуху анатомического покоя. Мы историки, и поэтому все прошлое для нас только огромная секционная. Но от них пахнет молью, мышами и нафталином, так что у меня сразу начинает першить в горле. Они выкапывают то, что никогда и не было живым. Вот выпустили какую-то паскудную книжонку “Протоколы сионских мудрецов”, изданную лет тридцать тому назад в России и сейчас же забытую там, какие-то древние ритуалы в честь людоедского бога Тора. А как они изобретательны на пакости! Все человечество они мыслят сотворенным по образу и подобию своему. Послушайте, Ланэ, – вы этого еще, наверное, не знаете, – в течение полутора лет мир знал о великой и трогательной дружбе Шиллера и Гете. Мне нечего, конечно, вам говорить о том, что это было чистое, крепкое и плодотворное для обоих чувство. Так все мы учили в школах. Но разве нацист, чья стихия – слепое разрушение, может поверить во что-нибудь, что основано на чувстве уважения человека к человеку?

“Прекрасным гимном Господу является человек”, – говорили древние монахи. Ну, а у них на этот счет другая поговорка: “Человек человеку волк”. И они ее придерживаются свято. И вот, пожалуйста, готова теория: дружбы не было, а была жестокая, но тайная борьба. Шиллер умер раньше Гете. Значит, Гете отравил Шиллера. Легко и просто! Это вполне укладывается в голову каждого кретина. Отравить конкурента – это же, черт возьми, выгодное дело! От него никто и никогда не откажется! Надо только обтяпать его половчее, так, чтобы не попасться! – Он улыбнулся и покачал головой. – Бедные гении, которые должны были родиться в Германии. Они все становятся уголовниками и дегенератами: так их легче понять!

Ланэ повернул голову. Он действительно походил сейчас на ручного снегиря – такой же медлительный, солидный и толстый. И когда он посмотрел на отца, даже взгляд у него был птичий – округлый, внимательный и чуть туповатый.

– Господа, господа! – сказал он, призывая к порядку. – Вы говорите бог знает о чем!

Отец весело и быстро повернулся к нему.

– Ба, Ланэ! – сказал он. – Вот позабыл-то! Вы просили у меня тему для докторской диссертации. Сейчас она пришла мне в голову. Берите карандаш и пишите: “Европейский подвид синантропа на территории Германии”.

Ланэ недовольно поморщился:

– Вот видите, профессор, – сказал он, – как вы отстаете от жизни! Ваша тема уже устарела. Во-первых, этот синантроп, как вы остроумно выразились, уже давно перешагнул границу Германии и теперь спешно доглатывает остатки Европы – это раз. Во-вторых, он является к нам не с дубиной, как подобает синантропу, а во всеоружии техники уничтожения. У него в руках автоматы, радио, зенитные орудия, магнитные мины и удушливые газы. Он сметает с лица земли наши города, даже не дотрагиваясь до них. Он превращает в огонь, дым и пепел целые области, даже не видя их. И неужели вы, господа, до такой степени слепы, что можете говорить черт знает о чем и о ком, когда петля уже накинута на наше горло?! Видите ли, Ганку очень возмущает, что какой-то там осел написал дурацкую книгу о том, что Гете отравил Шиллера. Ну и черт с ними! Бумага-то все терпит – отравил и отравил – не наше это совсем дело! А вот что всех нас скоро перетравят, об этом вы, господа, подумали? Нет ведь? Нет! – И он откинулся на спинку кресла, глядя на отца зло и выжидающе.

Отец посмотрел на него в некотором замешательстве.

Ланэ был всегда медлителен, сдержан и не любил лишних слов, нужны были особые обстоятельства, чтобы вывести его из себя. Правда, они и были сейчас налицо. В одном, по крайней мере, он был неоспоримо прав: петля была уже заброшена на шею, и кто знает, когда она должна была затянуться!..

– Ну, – сказал отец, – предположим, что вы правы, но что же вы предложите делать? – Он развел руками. – Знаете, есть положения, которые...

– Послушайте, – сказал Ланэ и встал с места так стремительно, что толкнул клетку со снегирем. – Вот Ганка сказал, что они на перилах Королевского моста повесили Гагена. Я с ним виделся в последний раз три месяца тому назад. Мы встретились в вагоне пригородного поезда. Он возвращался из комиссии по увековечению памяти Флобера. И знаете, что он мне сказал? “Обезьянья лапа повисла над Европой, а мы не видим, что уже сегодня находимся в ее тени. Берегитесь, Ланэ! Если дело пойдет дальше таким же темпом, то через месяц в кабинет вашего института явится за своим черепом живой питекантроп, но в руках у него будет уже не дубина, а автомат”. И вот обезьяна приходит за своим черепом, а три интеллигента сидят в креслах, покуривают трубки и рассуждают о дружбе Шиллера и Гете... О, черт бы подрал эту дряблую интеллигентскую душу с ее малокровной кожицей!

Он снова тяжело плюхнулся в кресло, и над ним успокоенно и сонно свистнул снегирь.

Отец, который было остановился, слушая Ланэ, снова забегал по комнате.

Затренькали в своих гнездах фарфоровые безделушки, как стая всколыхнувшихся со сна птиц.

Он подбежал к выключателю и повернул его. На столе зажглась зеленая лампа.

Голый череп Ганки и его маленькие ручки, попав в зону света, сразу стали страшными, как у утопленника. Ганка выставил их и легко пошевелил пальцами. Это было уже совсем жутко, и он сейчас же опустил руку.

– Последний свет, – сказал отец. – В других городах давно выключена вся осветительная сеть. Бедный Гаген, что он им сделал? Ведь он не интересовался ничем, кроме своего Флобера.

– А ничего! – ответил Ганка. – Они его просто обвинили в знакомстве с Карлом Войциком. Ох! Чтоб поймать этого человека, они готовы сжечь весь город! Жена Гагена рассказывала мне, как все это было. Пришли двое с этими, – он слегка дотронулся до своего локтя, – белыми пауками на повязках. Гаген сидел перед зеркалом и брился. Они его спросили: “Это вы и есть Гаген?” Он встал с бритвой в руке и ответил: “Я”. Тогда старший сказал: “Положите бритву, она вам не понадобится больше. Впрочем, если вы хотите перерезать себе горло...” И оба заржали... Так они его и повели, даже не дали смыть мыло с лица!

Ганка оторвал пуговицу от пиджака, несколько секунд неподвижно смотрел на нее, а потом яростно бросил в стену.

– Вы понимаете, это особое хамство, это скотское наслаждение – тащить через город человека с намыленной мордой!

Ланэ тяжело дышал.

Его доброе, круглое лицо с крупными, грубыми чертами и массивным носом было красно от напряжения. Он даже приоткрыл было рот, желая что-то сказать, но только махнул рукой. Ганка погладил зеленой, худенькой ручкой массивную спинку кресла.

– На другой день его привели к мосту, набросили на шею провод – знаете, такой тонкий шнур, что, как нож, врезается в тело, – и повесили. Он минут пять хрипел, перед тем как задохнуться.

Отец подошел к шкафу и стал через стекло разглядывать огромную и белую, как водяная лилия, чашку.

Было уже совсем темно, и чистое фиолетовое небо с прозрачными кристаллическими звездами смотрело в окно. Снегирь спал, подоткнув голову под крыло.

– Когда его уводили, – сказал Ганка, и я почувствовал, что он сжал зубы, – заплакала его жена. Он стал ее успокаивать и сказал: “Не плачь, я скоро вернусь, это недоразумение”. Тогда один из этих – старший, наверное, – сказал ему: “Вы очень самоуверенны, молодой человек. Конечно, это надо приписать вашей неопытности. Сколько вам лет?” Гаген сказал: “Скоро будет тридцать”. – “Не будет!” – ответил старший, и опять оба заржали... Потом они его увели на допрос и через день повесили.

– Вот! – сказал Ланэ и ударил кулаком по креслу. – Вот почему меня бесят так эти импотентные разговоры о Шиллере и Гете! Ведь такой же, точно такой же конец ждет и нас! Придет немецкий офицер и скажет...

– Хорошо, – начал отец, – но что же...

И вдруг обернулся.

Сзади стояла мать, держась за портьеру.

– К тебе немецкий офицер, – сказала она, жалко улыбаясь. – Он ждет тебя в кабинете.

Ганка вскочил с места, подбежал к отцу и встал с ним рядом.

– Вот она, – сказал Ланэ, – вот она, эта немецкая петля. И как же она быстро затянулась вокруг шеи!

И растерянно, беспомощно, ничего не понимая, он поднял голову и в упор посмотрел на снегиря.

Но снегирь уже спал, и ничто человеческое не было ему интересно.

Глава вторая

Слова Ланэ о петле, затянувшейся вокруг шеи, имели свой особенный смысл.

Прежде всего надо сказать, что петля эта никак не должна быть понята как метафора.

Нет, была такая петля, и лежала она в нижнем ящике письменного стола, похожая на свернувшуюся ядовитую гадину. К ней и записка была приложена так, чтобы никаких сомнений насчет ее назначения не оставалось. Но опять-таки, чтобы вполне понять, что она обозначала, и то, что произошло дальше, надо начать издалека, с первых годов двадцатого столетия.

Именно в это время, окончив медицинский факультет Гейдельбергского университета, отец поступил судовым доктором на грузовой пароход голландского акционерного общества “Ван Суоотен и К^о”.

Случайно я знаю некоторые подробности.

Судно было вместимостью шесть тысяч тонн, называлось “Афродита Пенорожденная”, и это совсем не соответствовало ни его виду, ни его назначению.

Начать с того, что это было большое грязное корыто, годное только на слом и на получение страховой премии. Может, на это и рассчитывали его владельцы, посылая эту лохань в такие далекие рейсы. Но судно не тонуло: на нем был старый, опытный капитан, сорок матросов да представитель фирмы, и все они никак не хотели расстаться с жизнью.

А жизнь была у них простая, ясная и не особенно тяжелая.

Пристав к берегу, судно по целым неделям стояло на якоре и ожидало погрузки, а матросы пили джин, сходились с женщинами и резались в карты. Доктору нечего было делать с просмоленными организмами этих морских бродяг.

С утра он брал палку, томик трагедий Сенеки, сачок для бабочек, вешал через плечо ботанизирку и уезжал на берег. Он увлекался в ту пору латинскими стихами, коллекцией экзотических бабочек и составлением гербария ядовитых растений. Его первой научной работой было исследование о растительных ядах Римской империи.

Вот в одну из этих прогулок он и натолкнулся на череп индонезского человека.

Я написал “на череп”.

Это не совсем так.

Не череп он нашел, а только часть черепного свода, бурую шершавую окаменелость, с первого взгляда даже не отличимую от валяющейся тут же гальки.

Отец после рассказывал, что он как будто сразу же понял все гигантское значение своей находки.

Запыхавшись, он вбежал в каюту капитана и положил перед ним на стол эту бесценную окаменелость.

– Что это такое? – ошалело спросил капитан и потрогал было кость пальцами.

– Череп Адама! – ответил отец.

– Вот что, Леон, – сказал капитан и брезгливо отряхнул пальцы, – выбросьте вы эту гадость за борт и не пейте натошак; вы еще молодой человек, и не надо прививать себе дурные привычки.

Конечно, у меня есть все основания думать, что этот рассказ сильно стилизован, так же как рассказ о знаменитом ньютоновском яблоке или ванне Архимеда, но таким он вошел во все научные биографии моего отца. Повторяю еще раз – мой отец любил выражаться красиво, недаром любимым его автором был Сенека. На другой день отец привез с берега обугленную от времени берцовую кость, коренной зуб и обломок затылочной части черепа. Дальше уже требовались основательные раскопки, и больше отец на это место не ездил. Вернувшись в Голландию, он сейчас же рассчитался с торговой фирмой “Суоотен и К^о” и уехал на родину. Там

у его отца, старого нотариуса города Нанта, было свое небольшое имение, и он засел в нем, обложившись книгами.

Усидчивость и трудолюбие его были просто невероятны.

За три месяца он исписал две тетради по пятьсот страниц каждая, начал было третью, но не кончил, бросил в корзину, где вместе с грязным бельем валялся Сенека, и уехал – сначала в Париж, а потом в Лондон.

Еще год упорной, усидчивой и безмолвной работы в библиотеке Британского музея – и вот биография отца уже идет крупным планом.

Доклад в Лондонском королевском обществе археологии и древней истории.

Статья в анналах Британского музея.

Другая статья, популярная, в воскресном номере “Таймс”.

Еще один доклад, публичный, в обществе любителей древности.

Отец любил рассказывать об этом вечере.

Зал переполнен публикой.

В первых рядах блестят голубые седины и розовые лысины знаменитых стариков. После двухчасового доклада к отцу подходит человек, чье имя известно каждому школьнику. Он стар, но еще прям и бодр, как крепкое столетнее дерево.

– Молодой коллега, – говорит он громко, так, что слышат все находящиеся в зале, – позвольте пожать вам руку. Вы сделали великое открытие. Вы пошли дальше Кювье. Он показал мне предка моей собаки, а вы сегодня отдернули завесу времени, и я увидел самого себя.

Три музея и два института четырех различных стран спорят между собой за честь обладать этими бесценными останками. Год продолжается переписка, и наконец отец жертвует их в музей своего родного города. Там они покрываются лаком и заключаются в стеклянную раму. *Homo Indonesia Messonie* – гласит надпись на металлической табличке, и с именем гипотетический крестник моего отца, весь состоящий из одного зуба, берцовой кости и обломка черепа, входит в науку.

Но шум в газетах продолжается.

Так вот как выглядит наш предок!

Вот какое у него было обезьянье лицо, звериные, острые скулы, полусогнутое, очевидно, волосатое тело. Вот он, родоначальник всех Венер и Аполлонов! Полно, так ли все это? Не напутал ли чего-нибудь этот шустрый судовой доктор? И вот на средства какой-то скучающей английской леди собирается на место находки новая экспедиция.

Фрахтуется специальный корабль, на его палубе сидят проворные геологи с молоточками в карманах, антропологи и специалисты по археологии и первобытному искусству.

Но черта с два! Ничего не обнаруживается в делювиальных глинах. Холм пуст, и привезенные эолиты оказываются просто булыжниками. Огорченная леди может их выбросить в помойное ведро.

А дальше?

Дальше создается институт первобытной культуры и палеоантропологии.

Отец назначается его научным руководителем и первым директором.

Снова организуется экспедиция. Может быть, что-нибудь да выдаст земля, если ее хорошенько попросить об этом.

Несчастный холм грызут со всех сторон!

Выкапываются какие-то сомнительные собачьи кости, но отец отрицательно качает головой. Нет, это не пойдет: индонезский человек не занимался охотой, он не имел домашних животных. Да и вообще хватит! Хватит шума, газетных сплетен, научных статей и экспедиций! С него достаточно и того, что он сделал. Достаточно? Нет, это еще не все. Надо выжать из этой жесткой костяной губки все, что она имеет. Вот надо хотя бы получить гипсовый слепок с мозговой полости. Черепной свод сохранился хорошо – значит, что-нибудь да должно получиться.

Но ведь череп до краев заполнен кремнеземом, сроемся с костью! Очищать его нельзя – он сейчас же превратится в известковую пыль! Каждое неосторожное прикосновение может быть гибельным. И вот отец совершает свой второй подвиг! Он покупает обыкновенную зубо-врачебную бормашину, ставит ее к себе в кабинет и начинает высверливать череп.

Он терпелив и неустанен.

Двадцать пять лет продолжается эта операция. Он не торопится, за день он делает всего несколько миллиметров. Поистине он похож на ту мифическую птицу, которая раз в столетие прилетает в горы, чтобы долбить гранитную скалу. Откуда-то об этом узнают газеты и юмористические журналы; фельетонисты не знают, как к этому следует отнестись, и на всякий случай начинают смеяться.

Отец не обращает внимания на это.

Он все сверлит, сверлит, сверлит свой злосчастный череп.

Смеются?

А, пусть себе смеются!

Он сам улыбается, когда при нем говорят об этом. Но через двадцать пять лет в “Известиях института” появляются снимки слепков с мозговой полости индонезского человека. Становится возможным сделать ряд выводов о его интеллекте и психике, в частности решить вопрос, обладал ли он членораздельной речью.

Бормашина уже не нужна. Ее стаскивают со второго этажа, где находится кабинет отца, и переносят в зубо-врачебный кабинет какого-то благотворительного общества.

Иди с миром, старушка! Ты достаточно потрудились на своем веку. Теперь ты будешь сверлить обыкновенные человеческие зубы.

Вот, собственно говоря, и все, что касается индонезского человека.

Но, конечно, научная биография отца была много шире. Не надо представлять себе так, что он двадцать пять лет сидел в кабинете и жужжал на бормашине. Нет, конечно, у него были такие промежутки, когда он месяцами не поднимался на второй этаж института. Во время одного из них он женился (надо сказать, так же быстро и неожиданно, как когда-то сделался антропологом) и родил сына.

Летом он блуждал по Европе и Азии с группой студентов и землекопов, раскапывал устья древних рек, рылся в бытовых остатках палеолита и вслед за индонезским человеком откопал еще двух или трех его братьев. В его кабинете появилось еще несколько человеческих разновидностей: новый тип неандертальца; какой-то богемский человек, близкий к расе кроманьонцев, но значительно более древний; европейский подвид синантропа и какие-то неясные костные фрагменты загадочной эпохи, реконструировать которые ему так и не пришлось.

Затем была проделана работа по восстановлению облика всех первобытных рас, открытых за тридцать лет работы института. На сохранившиеся лицевые части черепа наносились хрящи, фасции, мускулатура, кожа, потом все это переносилось на бумагу, гипс или глину.

Это была трудная работа, которую художники проделывали не только костью и резцом, но и какими-то специальными измерительными приборами.

Человеческое лицо рассчитывалось и размерялось, как архитектурный чертеж. Оно было разложено на столбики цифр, пропорций и измерений.

В конце десятого года работы сад института украсился галереей страшных обезьяньих харь, которым, верно, позавидовал бы и строитель собора Парижской Богоматери.

Последние пять лет отец сидел в кабинете и писал книгу, в которой был подытожен сорокалетний опыт его исследований.

Когда вышел шестой выпуск второго тома, Оксфордский университет преподнес отцу докторскую мантию.

После выхода третьего тома его выбрали в члены Академии наук СССР.

Книга называлась “История раннего палеолита в свете антропологии (к вопросу о единстве происхождения современных человеческих рас)”. Книга имела мировой успех, и в 1933 году один экземпляр ее был сожжен в Берлине.

Узнав об этом, отец потер руки и продекламировал:

Я не бежал, я не отвел глаза
От пасти окровавленного гада
И от земли, усеянной костями
Вокруг его пустынного жилья.

Но костер в Берлине не был еще исчерпывающим ответом.

Чудовище выжидало и собиралось с мыслями.

В следующем году в журнале “Фольк унд расе” появилась статья некоего Кенига “О черном кабинете профессора Мезонье, или Чудеса френологии”. Автор ее уже был достаточно известен отцу по другим статьям в том же журнале. Все они касались вопросов расы и крови, и пока позиция отца не была еще вполне ясна (а ясна она стала только после выхода его последней книги), его имя не появлялось иначе как в сопровождении эпитетов: “уважаемый”, “высококочтимый” и “многоученый”. Кениг любил двусложные, гомеровские эпитеты и щедро награждал ими отца.

Но, читая его статьи, отец качал головой и хмурился.

Кенигу никак нельзя было отказать в ловкости и в каком-то странном, изощренном таланте исказить все, до чего он дотрагивался. Под его пером лгало все. Цитаты, которые он приводил в невероятном количестве, часто даже не извращая их – для этого ему достаточно было просто отсечь начало или конец фразы, – цифры, статистические данные. Он брал отдельные куски текста из разных мест, сталкивал их, пересыпал восклицательными и вопросительными знаками, и вот они превращались в абракадабру, бессмыслицу, начинали противоречить друг другу. А мысли-то были правильные и хорошие.

У Кенига Гете становился расистом, Клейст приветствовал Гитлера, Рудольф Вирхов говорил о пользе стерилизации.

В тот год на книжном рынке Европы усиленно шел Чехов. Кениг добрался до него, выписал монолог фон Корена из “Дуэли” и поместил его в статье “Великий русский новеллист об охране чести и крови нации”. Дураки читали и разевали рты.

Пока это были довольно невинные упражнения, рассчитанные не так на человеческую глупость, как на примитивное невежество. Но вот в одной из своих статей Кениг назвал себя учеником и продолжателем высококочтимого, высокоавторитетного профессора Мезонье. В этой же статье, несколькими страницами ниже, он уже прямо заявлял о своей многолетней работе в стенах института. Это озадачило отца.

И статья была наглая, и никакого Кенига отец не помнил.

Он написал ответ, в котором с достаточной ясностью высказал свой взгляд на упражнения Кенига, а главное, выяснил позицию института по отношению к журналу и к расовой теории вообще.

Ответ был помещен в очередном томе трудов института.

Кениг в то время перчатку не поднял, и на это дело пока и кончилось.

Отец уже стал забывать об этом инциденте, когда появилась новая статья Кенига.

Тон ее был еще сдержанный: пышные гомеровские эпитеты еще не исчезли окончательно, но наряду с ними появились другие. Профессор Мезонье, не переставая быть высокоученым и высокоавторитетным, становится хитроумно изобретательным, а под конец и просто ловким. “Мы бы не желали употребить другое слово”, – замечал автор статьи. Но если тон статьи еще допускал толкования, то самая суть ее была вполне ясна и определена.

Кениг ставил под вопрос всю научную работу института.

Рассуждал он примерно таким образом.

Как известно, огромное значение имеют не только самые находки, но и то, где, кем, когда и при каких обстоятельствах они были найдены.

И он повторил еще раз – где, когда и кем?

Ведь дело-то обстоит так.

Вот демонстрируется какой-то и чей-то череп. Профессор Мезонье говорит: “Этот череп принадлежит человеку вымершей расы, жившей, ну, скажем, в конце вюрмского обледенения”. Отлично! Учитель сказал, и всем остается только верить. Ну, а если это все-таки не так, если совсем не на такой глубине и не в тех геологических слоях найден череп и несчастный носитель его умер всего сто или двести лет тому назад? Что остается тогда от всех ученых построений хитроумного профессора? За доводы профессора, однако, говорят как будто сами его находки.

Ведь галерея антропоидов все-таки украшает его институт, а вид их говорит сам за себя. Хорошо! Но тут он задает такой вопрос: учел ли высокочтимый ученый те изменения, которые претерпевает полая человеческая кость под давлением огромных земляных масс? Неужели приходится повторять великому антропологу, что кость не камень, не бронза, даже не затвердевшая глина, а податливая, пластическая масса, пропитанная кальциевыми солями, и под влиянием огромной тяжести она может менять свою форму? К тому же окончательное окостенение черепного свода оканчивается очень поздно, оно может быть и вообще неполным: под влиянием некоторых болезненных процессов наступает иногда так называемая декальцинация организма, то есть размягчение кости.

Как же не учесть всего этого при объективном исследовании!

Кто, например, не только из анатомов, но и просто из образованных людей не знает, какой мягкостью отличается череп Тургенева, – а ведь он умер в очень преклонном возрасте.

Предположим теперь, что этот череп попал бы сначала под равномерно-медленное давление земляной массы, а потом, эдак лет через сто, очутился в руках изобретательного профессора. Какой бы страшный облик придал тогда этот ловкий ученый (“Мы бы не желали применять другое слово”, – оговаривался Кениг) великому писателю!

Здесь стоит вопрос только о добросовестном заблуждении. Но если продолжать мысль, то позволительно спросить: а что же будет с черепом, специально обработанным с целью удалить полностью или частично кальциевые соли? Ведь тогда и года хватит для получения любых результатов!

О, он не ставит точки над “i”, он ничего не утверждает, он только предполагает и спрашивает. Он просто считает, что работы института нуждаются в проверке.

А что при такой проверке могут получиться самые неожиданные результаты, он скоро попытается доказать.

И вот в следующем же номере журнала появилась целая серия снимков с “Коллекции доктора Кенига”.

Чего тут только не было!

Черепы – удлиненные, как тыквы, круглые, как арбуз, сплюснутые с боков. Какие звериные облики должны были иметь их обладатели, если бы они оделись кожей и плотью!

В сопроводительной статье, очень короткой, впрочем, доктор Кениг писал, что он не требует лавров профессора Мезонье, а только доказывает ему, что и он мог бы их иметь, если бы захотел. Что же касается нападок профессора на истинную науку и на великий принцип чистоты крови, который так не нравится профессору, то он очень советует ему прочесть две хорошие книги – “Моя борьба”¹ Гитлера и “Миф XX века”² Розенберга.

¹ Внесена в Федеральный список экстремистских материалов.

² Внесена в Федеральный список экстремистских материалов.

И отец поднял перчатку.

Он опять поднялся на второй этаж, в свой кабинет, уже давно освобожденный от бормашины, и через месяц в Париже и Лондоне вышла его книга “Моя борьба с мифом XX века”.

Вот тогда-то ему и прислали эту петлю.

Сопроводительное письмо, приложенное к ней, было немногословно:

“На ней повесит вас первый немецкий офицер, перешедший с нашими войсками через границу”.

Вместо подписи стояли крючок, точка и клякса.

Теперь этот офицер пришел и ждал отца в кабинете.

Глава третья

Офицер стоял перед картиной, на которой парили розовые ангелы, и курил.

Это была его вторая папироса.

Первую он вместе с раздавленной спичечной коробкой бросил в череп питекантропа, видимо, приняв его за пепельницу.

У него было удлиненное, острое лицо с тяжелым подбородком, небольшие серые и как будто бы мутные, но на самом деле очень зоркие глаза, которые подолгу задерживались на одном предмете, гладкий лоб, короткие темные волосы. Говоря, он часто поднимал руку и проводил рукой по голове, как будто приглаживая прическу.

Увидев отца, он быстро шагнул к нему навстречу, и на лице его, вернее – на одних тонких лиловых губах, появилась ласковая и в то же время сдержанная улыбка...

Он щелкнул сапогами – тонко и остро звякнули шпоры – и, глядя в лицо отца, пристально и дружелюбно спросил по-французски, имеет ли он высокую честь видеть профессора Мезонье.

Он именно так и выразился – “высокую честь”.

Вообще же я сразу заметил, что говорит он плохо, запас слов у него ограничен и, прежде чем сказать фразу, он предварительно должен составить ее в уме.

Отец кивнул головой – он волновался и не хотел, чтобы слышали его голос.

– В таком случае разрешите пожать вам руку! – быстро сказал офицер и протянул отцу прямую и жесткую ладонь.

Отец порывисто пожал ее и глубоко вздохнул.

Я взглянул на мать.

Лицо у нее было утомленное и туманное.

Она поймала мой взгляд и медленно закрыла и снова открыла глаза, показывая этим, что все обстоит благополучно. Потом она тоже вздохнула и улыбнулась.

Так улыбаются, так вздыхают, так смотрят очнувшиеся после угарного обморока.

– Я являюсь вашим давнишним почитателем, профессор, – сказал офицер, не спуская с отца тяжелых, оловянных глаз. – Я тоже учился в археологическом институте. Но война... – Он остановился, вспомнил что-то и добавил: – Кто-то из поэтов выразился так: “Когда говорят пушки, то музы бегут с Парнаса”. Не правда ли? Но главная цель моего посещения...

– А мы можем говорить по-немецки, – сказал отец, – я окончил Гейдельбергский университет.

– Да? – радостно, но спокойно изумился офицер. – Прекрасно! С питомцем старейшего европейского университета на другом языке и не подобает говорить! Так вот, моя миссия... – У него догорела папироса, и он остановился, разыскивая глазами череп, но мать быстро подставила ему пепельницу. – Моя миссия заключается в том, чтобы передать вам привет от вашего родственника. – Тут он вынул из кармана перламутровый портсигар и положил его на ладонь. – Привет и письмо, которое он просил передать вам лично. Это и к вам относится, сударыня, – обернулся он с легким полупоклоном к матери.

Затем он щелкнул портсигаром и достал узкий синеватый конверт.

– Пожалуйста! – сказал он.

Отец полез в карман за очками. Их там не оказалось, и он в отчаянии взглянул на мать.

– Они в столовой, сейчас я принесу, – сказала она и вышла.

Отец надорвал конверт, и оттуда выпал лиловый листок.

– Сударь, – сказал отец, глядя на офицера, – если бы вы только знали, как я все эти годы ждал этого письма. Мой несчастный брат, который с тысяча девятьсот тридцать второго года пропал без вести...

– А вот вы прочтите письмо, – посоветовал офицер и улыбнулся снова, спокойно, вежливо и жестоко.

В кабинете было совсем темно.

Ганка неслышно подошел к окну и опустил тяжелые синие шторы.

Потом он наклонился над столом и зажег лампу. Тогда на письменном столе неясно замерцала тяжелая бронза дорогого письменного прибора в египетском стиле, а райские птицы на шторах вспыхнули и заиграли матовым, перламутровым свечением. Офицер шагнул к столу, взял пресс-папье и подбросил его на ладони. Потом поднял и опустил крышки на чернильницах в форме лотоса.

– Дорогая вещь, – сказал он с уважением, – редкая, дорогая вещь.

Дотронулся до штор и уже ничего не сказал, а только покачал головой.

Мать возвратилась с очками.

Отец надел их и быстро перевернул листок, разыскивая подпись.

– Господи боже мой, – сказал он вдруг изумленно. – Да ведь это!.. Берта, ты знаешь, кто это пишет?

Он хотел что-то сказать еще, но взглянул на офицера и прищелкнул языком. Потом прочитал письмо до конца и молча протянул его матери.

– Дорогая вещь, – повторил офицер, глядя на чернильницу, – редкая, дорогая вещь. У меня с детства наклонность к бронзе, и если бы вы... – он, как кошку, погладил бронзового сфинкса, – если бы... – повторил он. Потом вдруг спохватился и даже нахмурился. – Я сегодня буду говорить по прямому проводу с Берлином. Так вот, если вам нужно передать что-нибудь срочное...

Отец растерянно поглядел на мать – она кончила читать письмо и спокойно положила его на стол.

– Нет, чего же передавать! Как будто нечего. А? Берта? Мы ему ответим письмом.

– Ну, а вы, сударыня, – офицер повернулся к матери, – не захотите ли вы передать чего-нибудь вашему брату?

– Скажите Фридриху, что мы его ждем, – ответила мать, – и чем скорее он приедет, тем лучше.

Отец быстро взглянул на нее.

– Чем скорее, тем лучше, – упорно повторила она, не спуская с отца глаз. – Это я вас прошу передать от нас обоих.

– Хорошо! – сказал офицер, и рот его слегка дрогнул. – Передам от вас обоих.

– И потом вот еще что, сударь, – мать секунду подумала, – вам понравился наш чернильный прибор, а у нас в семье такой обычай: если гостю, дорогому гостю, потому что вы приносите нам весть о моем пропавшем брате, – подчеркнула она, – что-нибудь понравится...

– Ну что вы, что вы! – радостно забеспокоился офицер. – И потом же – вы меня совсем не знаете... С какой же стати?.. А вот, я вижу, вас интересуют библейские сюжеты! – он обрадованно кивнул головой на розовых ангелов с гусиными крыльями. – Я вывез из Галиции недурную коллекцию старых византийских икон, так я сегодня же вечером пришлю их вам...

– А что, сударь, – вдруг спросил Ганка, – вот эту коллекцию икон, что вы вывезли из Галиции, вам тоже подарили? – Он стоял около двери, и лица его не было видно.

Офицер вздрогнул и остановился.

– Что такое? – спросил он с недоумением и даже с легкой оторопью.

– Иконы, иконы, византийские иконы! – настойчиво повторил Ганка. – Их вам тоже подарили в Галиции? Вы зашли в церковь, похвалили их, и священник сказал: “Дорогой господин офицер, – не знаю, к сожалению, как вас следует именовать, – возьмите, будьте добры, на память эти иконы, раз они уж вам так нравятся. Почему-то мне кажется, что они теперь все равно не удержатся”. Так, что ли?

Офицер уже понял и смотрел на Ганку неподвижно и прямо, тяжелыми, белесоватыми глазами.

– Вы большой шутник! – выговорил он, отчеканивая каждое слово. – Извините, я тоже не имею чести знать вашего имени... Да, эти иконы мне тоже подарили! Довольно с вас этого?

Тогда Ганка вышел вперед.

Маленький, худой, в узком сюртуке, тесно обтягивавшем все его тщедушное, птичье тельце, он выглядел, по правде сказать, очень жалким и даже смешным рядом с тонкой, точно вылитой из металла, крепкой фигурой офицера.

Притом еще он весь дрожал. Не от страха, конечно, а от возбуждения, ярости и усилия сдерживаться. Но я знал: сдержаться он уже не мог, раз он начал, должен был говорить до конца.

Он был страшно нервный, этот Ганка, нервный, вспыльчивый и злой, и когда ненавидел кого-нибудь, то ненавидел уже рьяно, всеми силами души, всеми помыслами и желаниями, и молчать тогда ему становилось не под силу. Его ненависть всегда была силой активной, действенной, не знающей преграды. Под влиянием ее он дрожал, извивался всем телом, корчился как от стыда и сам не знал, что и как он сделает в следующую минуту.

– У вас очень много друзей, – пробормотал он, дрожа.

Офицер подошел к нему вплотную.

Так с минуту они молча стояли друг перед другом.

Лицо офицера, тяжелые серые глаза, тонкие, фиолетовые губы – все это было неподвижно и сжато. Ганка дрожал, менялся в лице, но глаз не опускал и на офицера смотрел дико и прямо.

– Да! – что-то решил наконец офицер и спокойно повернулся к отцу. – Как звать этого господина?

– Боже мой... Господа, господа! – засуетился отец, как будто выведенный из тяжелого транса. – Разве так можно? Это мой помощник, доктор исторических наук Владислав Ганка, у него бывает...

– Я вижу, что у него бывает, – жестко улыбнулся офицер. – Так вот, господин Ганка, меня зовут Иоганн Гарднер, полковник государственной тайной полиции. Теперь вы знаете, с кем имеете дело. Я думаю, что сейчас нет смысла продолжать этот разговор, но обещаю вам, что мы встретимся и тогда поговорим обо всем как следует. О дружбе, о вражде и о прочих интересных вещах...

И он совсем уже двинулся к двери, но вдруг остановился опять.

– У меня много друзей, – сказал он, уже не сдерживая угрозы, – но имейте в виду, что и врагами я никогда не пренебрегаю!

– Это оттого, что вам в них очень везет, сударь! – быстро ответил Ганка.

– Немецкому офицеру во всем везет! – жестко улыбнулся Гарднер. – И во врагах, конечно, прежде всего. Но мы их не боимся. Мы делаем с ними вот! – И он разжал и снова сжал кулак. – Раз, два, три – и нет! Мокро!

– Я видел это, – сказал Ганка, и голос его вдруг пересох и прервался, – там, на перилах Королевского моста...

– Ах, вот как! Вы, значит, уже и там были! – многозначительно воскликнул офицер и вдруг повернулся к матери: – До свиданья, фрау Курцер, спасибо за дорогой подарок, но я боюсь, что этот странный господин с чешской фамилией укусит меня за палец.

– Слушайте, господин Гарднер, – сказала мать сердечно и просто, – у доктора Ганки тяжелые нервные припадки, во время которых он не сознает, что и как он делает. Иначе он бы понял, в какое положение он нас ставит...

– И эти нервные припадки случаются у него тогда, когда он увидит мундир немецкого офицера? – уже без улыбки спросил Гарднер. – Не беспокойтесь, я вполне понимаю состояние доктора. До свиданья, господа, мы с вами еще увидимся!

Он вышел из комнаты, высокий, прямой, стройный, и отец даже не догадался его проводить.

Тогда мать опустилась на диван и сжала руками виски.

– Что вы наделали, Ганка! – сказала она глухо. – Что вы только наделали! И к чему все это!

– А, собака! – вдруг закричал Ганка и кулаком погрозил портьерам. – Немецкий шакал! Ты сюда пришел грабить, срывать с окон занавески!.. погоди, погоди! Скоро вас!.. Скоро вас всех! – он замолчал, весь дрожа и извиваясь.

Мать встала и тихо погладила его по голове.

Он стоял, закрыв глаза и запрокинув голову, как человек, стремящийся поймать ртом дождевую каплю.

– Бедный! – сказала мать.

Тогда Ганка очнулся, глубоко вздохнул, свел и развел руки, посмотрел на мать, на отца и вдруг слабо улыбнулся.

– Бедный! – повторила мать с тихой лаской. – Идемте, я вас хоть чаем напою. Ланэ теперь в столовой с ума сошел от страха. А ты, – она взяла меня за плечи, – спать, спать и спать!

Наутро я узнал две новости. Первая: к нам приезжает брат матери, дядя Фридрих, которого я никогда не видел. И вторая, с ней связанная: так как у дяди слабое здоровье, через неделю мы переезжаем на дачу.

А дня через три случилось и самое главное.

Глава четвертая

И вот как это произошло.

В тот день с утра мать готовилась к переезду и упаковывала фарфор.

Отец сидел в кресле и курил.

Мать несколько раз пыталась с ним заговорить, но на вопросы ее он отвечал односложно, а то и совсем не отвечал, ограничиваясь кивком головы; если же приходилось все-таки говорить, то он болезненно морщился, цедил слова сквозь зубы, да притом еще так, что и разобрать-то можно было не все.

А день, как нарочно, выдался ненастный, серенький; шел мелкий, противный дождик, да и не дождик даже, а просто стоял пронизывающий, неподвижный туман, такой, что сразу же, как мокрая паутина, осаждается на кожу, на лицо и одежду. Листья деревьев, кусты, трава, самое небо даже – все было мокрым, тусклым, как будто вылитым из непрозрачной, тяжелой массы.

В такие дни отец с утра забирался в халат, надевал туфли, круглую черную шапочку и возился с латинскими изданиями классиков. Вот и сейчас у него был томик трагедий Сенеки, но книга лежала на коленях, а он откинулся головой на спинку кресла и закрыл глаза. Лицо у него было утомленное, невыразительное, нехорошего, землистого цвета.

– Надо будет взять с собой и твои коллекции, – вдруг сказала мать, – вот о чем я думаю все время! Но как? Ведь это – два таких огромных ящика... Разве попытаться...

Отец сидел по-прежнему молчаливый и отчужденный от всего, и глаза у него были закрыты.

Мать поглядела и отставила в сторону чашку.

– Тебе нехорошо, Леон? – спросила она.

– Да! – ответил отец сквозь зубы.

– Может быть, у тебя болит голова?

– Нет! – ответил отец.

Мать вздохнула и снова взялась за фарфор.

– Какая ужасная погода! – сказала она.

Отец молчал.

– Я все-таки пошлю письменный прибор этому Гарднеру... У нас есть еще один, простенький, но хороший. Помнишь, тот, что я привезла из Вены? Ну, как же не помнишь? – Отец молчал. – Он так тебе нравился... из черного дерева, с перламутровой насечкой! Жалко? Конечно, жалко. Но что же поделаешь, этот все равно не удержишь.

Отец молчал.

– Леон! – позвала мать.

Отец с недоумением, словно просыпаясь, открыл глаза и посмотрел на мать. Взгляд у него был мутный и нехороший.

– Ну что ты, Леон? – тревожно и ласково спросила мать и, подойдя, положила ему руку на плечо. – Ну? Я с тобой поговорить хочу, а ты...

– Берта! – сказал отец, и голос его раздраженно вздрогнул. – Давай, чтоб не возвращаться, договоримся: делай все, что тебе угодно, все, что тебе только угодно, но, пожалуйста, не спрашивай моих советов.

– Почему? – спросила мать.

– А! Ты знаешь почему! Я тебе уже изложил свою точку зрения. С тех пор как я узнал, что это нечистое животное вползет в наш дом, мне все стало до такой степени противным, что я готов закрыть лицо руками и бежать, бежать куда-нибудь подальше, чтоб только не видеть, не слышать, не дышать с ним одним воздухом, – понимаешь?

– Ты на меня сердишься, Леон? – спросила мать, помолчав.

– Сердишься! – Отец взмахнул рукой. – Сердишься! Что за никчемное, бабье понятие! Как будто все дело только в моем настроении! Я не сержусь, мне просто противно!

– Что тебе противно? – спросила мать.

– Да всё мне противно! – закричал отец и стукнул кулаком по столу. Сенека упал на пол. – Всё! Решительно всё! И ты мне противна, и ты! Потому что ты – мой грубый, практический ум, мое реальное осознание происходящего, как говорит этот трус Ланэ, ты – мой компромисс с совестью. Пойми: я не на тебя сержусь, я себя презираю. Понимаешь ли ты хоть это?

– Леон... – начала мать.

– Худшее я знаю про себя, много худшего. Вот подожди, подожди, – в голосе отца прозвучало какое-то дикое злорадство, он словно был рад своему унижению, – придет твой людоед, твой уважаемый братец, и мы мирно – слышишь, Берта, мирно! – будем говорить о вопросах палеоантропологии. Мы ведь с ним коллеги по ремеслу! Он ведь тоже работает в нашей области, и я ему еще улыбаться буду, вот так же, как ты улыбалась вчера этому прохвосту Гарднеру, когда он плевал в череп синантропа. Я буду скрывать, что знаю про его кровавые подвиги в Австрии и Чехии, где он сыграл в футбол человеческими черепами. Вот что гнусно!

Мать взяла его за руку.

– Ну, а что делается в городе, ты знаешь? – спросила она сурово.

– Господи! – Отец зажал голову руками. – Где то далекое, счастливое время, когда этот выродок не убивал людей, а мирно занимался фабрикацией доисторических черепов?! Милое, наивное время, возвратись хоть на минуту! Пусть я увижу перед собой не убийцу ребенка, а просто глупого и неопытного шулера! Ты помнишь, как он летел у меня с лестницы вместе со своим “Моравским эоантропом” – этой гнусной фабрикацией из обезьяньих и человеческих костей? Меня именно и потрясла тогда эта его бесстыдная, воинствующая наглость: ведь не где-нибудь на стороне он подобрал эти кости, а у меня же, у меня же в кабинете, просто открыл шкаф, набрал костей, измазал их землей и принес их мне же. Я швырнул их ему вслед, и ты не упрекала меня, Берта, но, честное слово, насколько лучше бы было ему заниматься обезьяньими черепами и оставить человека в покое!

Отец вздохнул и нагнулся за Сенекой.

– Брось книгу, – сказала мать. – Что происходит в городе, ты знаешь?

– Ради бога, Берта! – сказал отец, прижимая к груди левую руку – в правой он держал Сенеку, – и набрал воздуха для новой, пылкой и бичующей тирады. – Ради всего святого...

– Брось книгу! – повторила мать и вырвала у него Сенеку из рук. – Профессор Бернс, когда пришли за ним, выпрыгнул с пятого этажа, профессора Жослена вытащили прямо из постели и не дали ему даже попрощаться с детьми. Теперь, говорят, он уже расстрелян. Его видели вместе с Карлом Войциком. А когда я сегодня пошла в булочную, то при мне немецкий ефрейтор бил какого-то прохожего. Ты и понятия не имеешь, как они бьют, Леон... Он его... Да нет, нет, ты не представишь, это надо видеть! Тот повалился навзничь головой в чье-то окно, а он хлестал его кулаком по зубам... А из окон смотрели люди. Потом ефрейтор обтер руки о его пиджак, надел перчатку и пошел дальше. Я узнала потом, что этот человек случайно толкнул его локтем на улице. Ну, скажи: ты хочешь, чтобы это было и с тобой?

Отец сидел ошеломленный и сторбленный.

Уже ничего не осталось от его суровой взыскательности и гордого величия. Одно имя поразило его особенно.

– Профессор Бернс! – сказал он в ужасе. – Ведь я его видел всего неделю тому назад... Господи, что же он им сделал?

– Ты хочешь, чтобы тебя тоже в одном белье стащили с кровати, а потом повесили на шнуре, так, что ли? – неумолимо повторила мать.

– Нет, нет, Берта! – отец, как будто защищаясь, поднял руку. – Но я не могу же...

– Чтобы к тебе подошел Гарднер, снял перчатку и начал бить тебя по зубам, чтобы тебя засадили в подвал, а потом придушили в углу, как крысу, – ты этого хочешь? Ну, так я этого не хочу!

– Нет, нет, Берта, ради бога... Ну что ты, в самом деле... – отец продолжал что-то бормотать, сам плохо вдаваясь в смысл своих слов. Картина, нарисованная матерью, поразила его своей реальностью.

– Я этого не хочу, – повторила мать с тихой яростью. – Фридрих – негодяй и преступник. Ты пятнадцать лет тому назад вышвырнул его из дома и хорошо сделал, но теперь я должна сохранить твою жизнь и жизнь Ганса, а ты должен сохранить свой институт и свою науку – вот что я понимаю во всей этой истории! Поэтому я буду держать пепельницу, когда в нее плюет немецкий офицер, подарю твой письменный прибор Гарднеру и буду с нетерпением ждать приезда Фридриха, потому что я знаю – в этом спасение. А тебя прошу мне не мешать и... – тут у нее дрогнул голос, и она тяжело осела в кресло. – И, Леон, неужели ты думаешь, что это все мне легко? Когда Ганка...

– Да, да, а где же Ганка? – забеспокоился отец. – Он обещал прийти с утра, а сейчас...

Мать сидела в кресле и плакала. Она закрывала лицо, но слезы текли у нее по рукам и груди.

– Берта, милая! – всполошился отец. – Голубка моя... Я тебя обидел? Да? Ну, прости, прости меня, старого дурака!

Отворилась дверь, и вошел Ганка. Под мышкой он держал папку с бумагами и, войдя, сейчас же бросил ее на стол.

Он был слегка бледен и тяжело дышал.

– Вот! – сказал он и задохнулся. – Здесь всё!

– Что всё? – шутливо переспросил отец. В присутствии Ганки он опять обрел свой прежний тон. – Во-первых, здравствуйте, во-вторых, снимите шляпу и садитесь...

Ганка слепо, не видя, посмотрел ему в лицо, рывком оправил галстук, потом повернулся и молча подошел к двери.

– Ганка! – окликнул его отец. – Да что с вами, в самом деле? Прибежал, не поздоровался, бросил папку: “Здесь всё”, – а что всё?

Ганка обернулся и повел шеей так, как будто ему жал воротничок.

– За мной погоня, – сказал он почти спокойно, – я не хочу, чтобы меня взяли у вас!

– Этого еще не хватало! – отшатнулся отец. – Да стойте, куда же вы?.. Берта... Берта... – взмолился он. – Ты слышишь, что он говорит?

Мать стояла, прислушиваясь.

– Вот они, уже идут, – сказала она, – поздно!

Вошли двое; в коридоре были и еще люди, видимо, несколько человек, но те остались за дверьми.

Первым вошел высокий, сухой мужчина, по своей хищной худобе, узкому треугольному лицу и жестким усам несколько похожий на Дон Кихота, каким его изобразил Густав Доре. У него была морщинистая кожа цвета лежалого масла и быстрые, зоркие, внимательные глаза.

Одет он был в глухой кожаный плащ и, может быть, поэтому напомнил мне нашего домашнего монтера.

За ним шел офицер, красивый, румяный, молодой и очень полный, с белыми вьющимися волосами и бездумным выражением в больших синих глазах.

– Который? Этот? – спросил усатый, показывая на Ганку.

– Этот! – ответил офицер и чему-то улыбнулся.

Тогда усатый пнул ногой стул, что стоял на дороге, и вплотную подошел к Ганке. С полминуты они оба молчали.

Ганка поднял руку – пальцы у него дрожали – и оправил галстук.

– Что вы здесь делаете? – спросил усатый.

Они стояли так близко друг к другу, что если бы Ганка был выше ростом, то он вряд ли увидел бы лицо усатого. Но он смотрел на него, маленький Ганка, – снизу вверх, прямо, неподвижно и строго.

– Я брал вчера у профессора плащ, – ответил он слегка изменившимся голосом, – и вот пришел возвратить ему.

– Хорошо. Где же у вас плащ? – спросил усатый.

– Плащ на мне, – ответил Ганка и стал расстегивать пуговицы.

– Ну, а где же ваш собственный плащ? – спокойно, не повышая голоса, спросил усатый.

– Мой остался дома, – ответил Ганка. Вдруг его передернула быстрая, косая дрожь. Он хотел что-то сказать еще, но только открыл рот и глотнул воздух.

– Ты его не слушай! – сказал офицер. – Он был уже в плаще, когда мы подошли к дому. Его кто-то предупредил, и он шмыгнул через калитку в палисаднике.

– Слышите? – спросил усатый, не сводя с него глаз. – Зачем же вы пришли сюда?.. Да ты не дрожи, не дрожи, – вдруг сказал он с тихим презрением, – тебя ж никто не бьет. Стой ровно... Зачем сюда пришел? Ну?

– Я уж вам... – начал Ганка.

Усатый поднял кулак и ударил Ганку в лицо.

Я заметил – удар был четкий, хорошо рассчитанный и очень короткий.

Ганка упал.

Тогда усатый наклонился и поднял его за плечо.

– Так зачем вы сюда пришли? – спросил он прежним тоном, с силой разминая пальцы.

Папка, с которой пришел Ганка, лежала на столе.

Красивый офицер взял ее в руки, полистал немного и сказал: “Ага!” Он сказал “ага” таким тоном, который значил: “Так вот зачем вы сюда собрались”.

– Вы за этим сюда пришли? – спросил усатый и, не оборачиваясь, приказал офицеру: – Ну-ка, посмотри, что там такое!

– Здесь не по-немецки, – ответил офицер. – Постой-ка, хотя сейчас...

– А я вам переведу, господа, – сказал отец, тяжело дыша. – Это рукопись, уже подготовленная к печати, и называется она “Вопрос об эолитическом человеке в антропологическом и археологическом освещении”.

– Да, что-то в этом роде, – небрежно ответил офицер и веером пустил несколько страниц рукописи. – Какие-то булыжники, кости, какие-то цифры. – Он перелистал еще. – Череп, а на нем стрелки и цифры.

– Какие цифры? – спросил усатый.

– А вот что-то: “пять см; два см; пять; восемь”.

– Это же научная рукопись, – сказал отец. Голос у него дрожал и прерывался самым жалким образом, хотя он и старался держаться молодцом, стоял независимо, недоумевающе пожимая плечами, и бормотал, глядя на Ганку и на усатого: “Что такое? Ну ничего не понимаю, абсолютно ничего”. – Это плод многолетних работ доктора Ганки...

– Закрой. Ерунда! – сказал усатый. – Ну, так вы будете отвечать на мой вопрос или нет? Зачем вы сюда пришли?

– Разрешите, я объясню вам все? – солидно проговорил отец, улыбаясь. – Ровно ничего особенного тут нет. Доктор Ганка работал под моим руководством...

– А вы не будьте таким прытким, – посоветовал офицер (усатый вообще молчал, он смотрел и видел перед собой одного Ганку, все остальное для него просто не существовало). – Вам еще придется достаточно отвечать за самого себя.

– Я, господа, всегда готов... – начал отец.

– Ну и вот. А пока молчите.
Мать вдруг поднялась и пошла из комнаты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.